



"Константин Симонов - Дни и ночи"

**Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке**

Topreading.ru

...так тяжкий млат,

дробя стекло, кует булат.

А. Пушкин

I

Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград.

Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль.

Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся.

Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон.

За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это, вместе взятое, казалось краем света. Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше от берега Волги предстояло идти пешком. Городишко назывался Эльтоном, по имени соляного озера. Сабуров невольно вспомнил заученные еще со школы слова «Эльтон» и «Баскунчак». Когда-то это было только школьной географией. И вот он, этот Эльтон: низкие домики, пыль, захолустная железнодорожная ветка.

А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валук в Россошь, из Россоши в Богучар, и так же плакали женщины, и так же он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрек, а отчаяние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек – ничего.

- Куда загнали, а? – прошептал он, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он из теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как он шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно. И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так продолжаться не могло. Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать, что обратной переправы не будет и что его личная судьба будет решаться на том берегу, заодно с участью города. И если немцы возьмут город, он непременно умрет, и если он не даст им этого сделать, то, может быть, выживет.

А женщина, сидевшая у его ног, все еще рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Незнакомые Сабурову названия их для нее были исполнены особого смысла. Она знала, где и когда были построены сожженные сейчас дома, где и когда посажены спиленные сейчас на баррикады деревья, она жалела все это, как будто речь шла не о большом городе, а о ее доме, где пропали и погибли до слез знакомые, принадлежавшие лично ей вещи.

Но о своем доме она как раз не говорила ничего, и Сабуров, слушая ее, подумал, как, в сущности, редко за всю войну попадались ему люди, жалевшие о своем пропавшем имуществе. И чем дальше шла война, тем реже люди вспоминали свои брошенные дома и тем чаще и упрямее вспоминали только покинутые города.

Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

- Денег-то сколько, трудов сколько!
- Чего трудов? - спросил кто-то, не поняв смысла ее слов.
- Обрато построить все, - просто сказала женщина.

Сабуров спросил женщину о ней самой. Она сказала, что два ее сына давно на фронте и один из них уже убит, а муж и дочь, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знает о них.

- А вы в Сталинград? - спросила она.
- Да, - ответил Сабуров, не видя в этом военной тайны, ибо для чего же еще, как не для того, чтобы идти в Сталинград, мог разгружаться сейчас воинский эшелон в этом забытом богом Эльтоне.
- Наша фамилия Клименко. Муж - Иван Васильевич, а дочь - Аня. Может, встретите где живых, - сказала женщина со слабой надеждой.
- Может, и встречу, - привычно ответил Сабуров.

Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и, выпив ковш воды из выставленной на улицу бадейки, направился к железнодорожному полотну.

Бойцы, сидя на шпалах, сняв сапоги, подвертывали портянки. Некоторые из них, сэкономившие выданный с утра паек, жевали хлеб и сухую колбасу. По батальону прошел верный, как обычно, солдатский слух, что после выгрузки сразу предстоит марш, и все спешили закончить свои недоделанные дела. Одни ели, другие чинили порванные гимнастерки, третьи перекуривали.

Сабуров прошелся вдоль станционных путей. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту, и до тех пор оставался еще не решенным

вопрос, начнет ли батальон Сабурова марш к Сталинграду, не дожидаясь остальных батальонов, или же после ночевки, утром, сразу двинется весь полк.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой.

Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были «воронежские» – так про себя называл он тех, которые воевали с ним еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падающие с самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомбы упадут дальше и можно спокойно наблюдать за их полетом. Они знали, что под минометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они знали все те простые, но спасительные солдатские истины, знание которых давало им уверенность, что их не так-то легко убить.

Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые. У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял немолодой красноармеец, издали обративший на себя внимание Сабурова гвардейской выправкой и густыми рыжими усами, как пики, торчавшими в стороны. Когда Сабуров подошел к нему, тот лихо взял «на караул» и прямым, немигающим взглядом продолжал смотреть в лицо капитану. В том, как он стоял, как был подпоясан, как держал винтовку, чувствовалась та солдатская бывалость, которая дается только годами службы. Между тем Сабуров, помнивший в лицо почти всех, кто был с ним под Воронежем, до переформирования дивизии, этого красноармейца не помнил.

- Как фамилия? – спросил Сабуров.

- Конюков, – отчеканил красноармеец и снова уставился неподвижным взглядом в лицо капитану.

- В боях участвовали?

- Так точно.

- Где?

- Под Перемышлем.

- Вот как. Значит, от самого Перемышля отступали?

- Никак нет. Наступали. В шестнадцатом году.

- Вот оно что.

Сабуров внимательно взглянул на Конюкова. Лицо солдата было серьезно, почти торжественно.

- А в эту войну давно в армии? – спросил Сабуров.

- Никак нет, первый месяц.

Сабуров еще раз с удовольствием окинул глазом крепкую фигуру Конюкова и пошел дальше. У последнего вагона он встретил своего начальника штаба лейтенанта Масленникова, распорядившегося выгрузкой.

Масленников доложил ему, что через пять минут выгрузка будет закончена, и, посмотрев на свои ручные квадратные часы, сказал:

- Разрешите, товарищ капитан, сверить с вашими?

Сабуров молча вынул из кармана свои часы, пристегнутые за ремешок английской булавкой. Часы Масленникова отставали на пять минут. Он с недоверием посмотрел на старые серебряные, с треснувшим стеклом часы Сабурова.

Сабуров улыбнулся:

- Ничего, переставляйте. Во-первых, часы еще отцовские, Буре, а во-вторых, привыкайте к тому, что на войне верное время всегда бывает у начальства.

Масленников еще раз посмотрел на те и другие часы, аккуратно подвел свои и, откозыряв, попросил разрешения быть свободным.

Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтowym заданием. Здесь, в Эльтоне, ему казалось, что уже пахнет близостью фронта. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня Сабуровым выполнил с особой аккуратностью и тщательностью.

- Да, да, идите, - сказал Сабуров после секундного молчания.

Глядя на это румяное, оживленное мальчишеское лицо, Сабуров представил себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.

Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон.

Как всегда торопясь, с подножки классного вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Подвернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову.

- Как с разгрузкой? - хмуро, не глядя в лицо Сабурову, спросил он.

- Закончена.

Бабченко огляделся. Разгрузка и в самом деле была закончена. Но хмурый вид и строгий тон, сохранять которые Бабченко считал своим долгом при всех разговорах с подчиненными, требовали от него и сейчас, чтобы он для поддержания своего престижа сделал какое-либо замечание.

- Что делаете? - отрывисто спросил он.

- Жду ваших приказаний.

- Лучше бы людей пока накормили, чем ждать.

- В том случае, если мы тронемся сейчас, я решил кормить людей на первом привале, а в том случае, если мы заночуем, решил организовать им через час горячую пищу здесь, - неторопливо ответил Сабуров с той спокойной логикой, которую в нем особенно не любил вечно спешивший Бабченко.

Подполковник промолчал.

- Прикажете сейчас кормить? - спросил Сабуров.

- Нет, покормите на привале. Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажете строиться.

Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей.

Бабченко хмуро молчал. Он привык делать всегда все сам, всегда спешил и часто не поспевал.

Собственно говоря, командир батальона не обязан сам строить походную колонну. Но то, что Сабуров поручил это другому, а сам сейчас спокойно, ничего не делая, стоял рядом с ним, командиром полка, сердило Бабченко. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные суетились и бегали. Но от спокойного Сабурова он никогда не мог этого добиться.

Отвернувшись, он стал смотреть на строившуюся колонну. Сабуров стоял рядом. Он знал, что командир полка недолюбливает его, но уже привык к этому и не обращал внимания.

Они оба с минуту стояли молча. Вдруг Бабченко, по-прежнему не оборачиваясь к Сабурову, сказал с гневом и обидой в голосе:

- Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные, изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами.

Они оба посмотрели в ту сторону, куда предстояло идти полку. Там лежала все та же, что и здесь, лысая степь, и только пыль впереди, завившаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма.

- Место сбора в Рыбачьем. Идите ускоренным маршем и вышлите ко мне связных, - сказал Бабченко с прежним хмурым выражением лица и, повернувшись, пошел к своему вагону.

Сабуров вышел на дорогу. Роты уже построились. В ожидании начала марша была дана команда: «Вольно». В рядах тихо переговаривались. Идя к голове колонны мимо второй роты, Сабуров снова увидел рыжеусого Конюкова: он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками.

- Батальон, слушай мою команду!

Колонна тронулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом. Впрочем, может быть, и в самом деле впереди горела степь.

II

Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгофена с утра повисли над городом. Трудно сказать, сколько их было на самом деле и по скольким раз они бомбили, улетали и вновь возвращались, но всего за день наблюдатели

насчитали над городом две тысячи самолетов.

Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое сталинградское сражение, потому что и немцы и мы – одни перед собой, другие за собой – с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к горящему городу.

На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда казалось, что в городе снова дымно.

Немцы продолжали бомбардировки, и в Сталинграде то там, то здесь вспыхивали новые, уже никого не поражавшие пожары. Они сравнительно быстро кончались, потому что, спалив несколько новых домов, огонь вскоре доходил до ранее сгоревших улиц и, не находя себе пищи, потухал. Но город был так огромен, что все равно всегда где-нибудь что-то горело, и все уже привыкли к этому постоянному зареву, как к необходимой части ночного пейзажа.

На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее – подходили к ней. Город, растянувшийся в длину на шестьдесят пять километров, в ширину нигде не имел больше пяти, и почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины.

Канонада, начавшаяся в семь утра, не прекращалась до заката. Непосвященному, попавшему в штаб армии, показалось бы, что все обстоит благополучно и что, во всяком случае, у обороняющихся еще много сил. Посмотрев на штабную карту города, где было нанесено расположение войск, он бы увидел, что этот сравнительно небольшой участок весь густо исписан номерами стоящих в обороне дивизий и бригад. Он бы мог услышать приказания, отдаваемые по телефону командирам этих дивизий и бригад, и ему могло бы показаться, что стоит только точно выполнить все эти приказания, и успех, несомненно, обеспечен. Для того же, чтобы действительно понять, что происходило, этому непосвященному наблюдателю следовало бы добраться до самих дивизий, которые в виде таких аккуратных красных полукружий были отмечены на карте.

Большинство отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях дивизий по количеству штыков представляли собой сейчас неполные батальоны. В штабах и в артиллерийских полках еще было довольно много людей, но в стрелковых ротах каждый боец был на счету. В последние дни в тыловых частях взяли всех, кто не был там абсолютно необходим. Телефонисты, повара, химики перешли в распоряжение командиров полков и по необходимости стали пехотой. Но хотя начальник штаба армии, смотря на карту, отлично знал, что его дивизии уже не дивизии, однако размеры участков, которые они занимали, по-прежнему требовали, чтобы на их плечи падала именно та задача, которая должна падать на плечи дивизии. И, зная, что бремя это непосильно, все начальники от самых больших до самых малых все-таки клали это непосильное бремя на плечи своих подчиненных, ибо другого выхода не было, а воевать было по-прежнему необходимо.

Перед войной командующий армией, наверное, рассмеялся бы, если бы ему сказали, что придет день, когда весь подвижной резерв, которым он будет располагать, составит несколько сот человек. А между тем сегодня это было именно так... Несколько сот автоматчиков, посаженных на грузовики, – это было все, что он в критический момент прорыва мог быстро перебросить из одного конца города в другой.

На большом и плоском холме Мамаева кургана, в каком-нибудь километре от передовой, в землянках и окопах разместился командный пункт армии. Немцы прекратили атаки, то ли отложив их до темноты, то ли решив передохнуть до утра. Обстановка вообще и эта тишина в особенности заставляли предполагать, что утром будет неприменный и решительный штурм.

– Пообедали бы, – сказал адъютант, с трудом протискиваясь в маленькую землянку, где сидели над картой начальник штаба и член Военного совета. Они оба поглядели друг на друга, потом на карту, потом снова друг на друга. Если бы адъютант не напомнил им, что нужно обедать, они, может быть, еще долго сидели бы над ней. Они одни знали, насколько было опасно положение на самом деле, и хотя все, что возможно было сделать, было уже предусмотрено и командующий сам выехал в дивизии проверить выполнение своих приказаний, но от карты все-таки трудно было оторваться – хотелось чудом выискать на этом листе бумаги еще какие-то новые, небывалые возможности.

– Обедать так обедать, – сказал член Военного совета Матвеев, человек по характеру жизнерадостный и любивший покушать в тех случаях, когда среди штабной сутолоки на это оставалось время.

Они вышли на воздух. Начинало темнеть. Внизу, справа от кургана, на фоне свинцового неба, как стадо огненных зверей, промелькнули снаряды «катюш». Немцы готовились к ночи, пуская в воздух первые белые ракеты, обозначавшие их передний край.

Через Мамаев курган проходило так называемое зеленое кольцо. Его затеяли в тридцатом году сталинградские комсомольцы и десять лет окружали свой пыльный и душный город поясом молодых парков и бульваров. Вершина Мамаева кургана была тоже обсажена тоненькими десятилетними липками.

Матвеев огляделся. Так хорош был этот теплый осенний вечер, так неожиданно тихо стало кругом, так пахло последней летней свежестью от начинавших желтеть липок, что ему показалось нелепым сидеть в полуразрушенной халупе, где помещалась столовая.

– Скажи, чтобы стол сюда вынесли, – обратился он к адъютанту, – под липками будем обедать.

С кухни вынесли колченогий стол, покрыли скатертью, приставили две скамейки.

– Ну что ж, генерал, сели, – сказал Матвеев начальнику штаба. – Давно мы с тобой под липками не обедали, и едва ли скоро придется.

И он оглянулся назад, на сожженный город.

Адъютант принес водку в стаканах.

– А помнишь, генерал, – продолжал Матвеев, – когда-то в Сокольниках, около лабиринта, такие клетушки с живою оградой из подстриженной сирени были, и в каждой столик и скамеечки. И самовар подавали... Туда все больше семействами приезжали.

- Ну и комаров же там было, - вставил не расположенный к лирике начальник штаба, - не то, что здесь.

- А здесь самовара нет, - сказал Матвеев.

- Зато и комаров нет. А лабиринт там действительно был такой, что трудно выбраться.

Матвеев посмотрел через плечо на расстилавшийся внизу город и усмехнулся:

- Лабиринт...

Внизу сходились, расходились и перепутывались улицы, на которых среди решений многих человеческих судеб предстояло решаться одной большой судьбе - судьбе армии.

В полутьме вырос адъютант.

- С левого берега от Боброва прибыли. - По его голосу было видно, что он бежал сюда и запыхался.

- Где они? - вставая, отрывисто спросил Матвеев.

- Со мной! Товарищ майор! - позвал адъютант.

Рядом с ним появилась плохо различимая в темноте высокая фигура.

- Встретили? - спросил Матвеев.

- Встретили. Полковник Бобров приказал доложить, что сейчас начнет переправу.

- Хорошо, - сказал Матвеев и глубоко и облегченно вздохнул.

То, что последние часы волновало и его, и начальника штаба, и всех окружающих, решилось.

- Командующий еще не вернулся? - спросил он адъютанта.

- Нет.

- Поищите по дивизиям, где он, и доложите, что Бобров встретил.

III

Полковник Бобров еще с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил ее в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир ее следует позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.

- Товарищ капитан, - сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми глазами, - мне не нужно вам объяснять, почему к восемнадцати часам ваш батальон должен быть на переправе.

И, не добавив ни слова, захлопнул дверцу.

В шесть часов вечера, возвращаясь, Бобров застал Сабурова уже на берегу. После

утомительного марша батальон пришел к Волге нестройно, растянувшись, но уже через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось в ожидании дальнейших приказаний разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.

Когда Сабуров в ожидании переправы присел отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, полковник Бобров подсел к нему и предложил закурить.

Они закурили.

- Ну как там? - спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.

- Трудно, - ответил полковник. - Трудно... - И в третий раз шепотом повторил: - Трудно, - словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» - очень трудно, то третье «трудно», сказанное шепотом, - значило - страшно трудно, до зарезу.

Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он - высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну: все западные берега русских и украинских рек были обрывистые, все восточные - отлогие. И все города стояли именно на западных берегах рек - Киев, Смоленск, Днепропетровск, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.

Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардировщики, и густым слоем, похожим на мелкие перистые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.

В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.

А по безводной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба беженцев.

Но все это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое ясное чувство ненависти к немцам.

Вечер был прохладным, но после степного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров все еще никак не мог прийти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустился по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднес каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его: волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на войне. Эти два понятия - война и Волга - при всей их очевидности никак не вязались друг с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас то, что он стоял на берегу Волги и пил из нее воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.

С этим ощущением он поднялся по песчаному откосу наверх, туда, где продолжал еще сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаенным мыслям, задумчиво произнес:

- Да, капитан, Волга... - и, показав рукой вверх по течению, добавил: - А вот и наш катер идет с баржей. Одну роту и две пушки разместите...

Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.

Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжелоранеными с баржи сошли десятка полтора тех, кто мог еще ходить.

- Мало легкораненых, - сказал Сабуров Боброву.

- Мало? - переспросил Бобров и усмехнулся: - Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.

- Почему? - спросил Сабуров.

- Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Вот переправитесь - на третий день сами поймете почему.

Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение, оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вез из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы ее погрузили вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирая на Сабурова, говорил, что это капсули для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили, - осажденный город, на улицах которого каждую минуту рвутся снаряды!

Сабуров разрешил погрузиться человеку с капсулями, интенданту с водкой и оттер остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат еще раненые и что с этой баржей ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она вслед за другими по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой совторгфлотовской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой совторгфлотовской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Он расстегнул гимнастерку и оттянул ее на груди так, что она надулась парусом.

- Простынете, товарищ капитан, - сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.

Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил.

- И не заметите, как простынете, - настойчиво повторила девушка. - Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.

Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хрипловатость.

- Каждый день переплываете? - спросил Сабуров, поднимая на нее глаза. - По сколько же раз?

- Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было - сначала в полк, потом медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берем раненых с передовой и сами везем за Волгу.

Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил:

- А не страшно вам столько раз туда и назад?

- Страшно, - призналась девушка. - Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь - страшно. Когда одна, страшнее, - ведь верно?

- Верно, - сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, находясь в своем батальоне, думая о нем, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.

Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:

- Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.

- Чего не будет?

- А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду - и я нигде не была. Я мечтала... - она засмеялась, но потом продолжила: - Мечтала, как выйду замуж, - и ничего этого тоже не было... И вот я иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет.

- А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? - спросил Сабуров.

- Нет, - убежденно сказала она. - Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.

- Сколько?

- Ну, тридцать пять - сорок, да?

- Да, - улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно ей доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.

- Вот видите, - сказала она, - вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.

Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил ее по голове и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял ее откровенность иначе, чем это нужно.

- У нас сегодня убили хирурга, - сказала девушка. - Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался и на нас кричал. И знаете, чем больше стонали раненные и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он стал сам умирать, я его перевозила - его в живот ранили, - ему было очень больно, и он тихо лежал, и не ругался, и вообще ничего не говорил. И я поняла, что он, наверное, на самом деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он все молчал и ничего не сказал, так до самой смерти... ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?

- Не знаю, - ответил Сабуров. - Может быть, он был рад, что вы на этой войне еще живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.

- Я тоже не знаю, - сказала девушка. - Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. И вдруг совсем наоборот.

Пароходик, пыхтя, подбирался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И в эту минуту в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.

- Стреляют. А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему не стреляют?

Сабуров не ответил. Он прислушался и еще до падения снаряда понял, что у этого, второго, будет большой перелет. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку - один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят еще пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.

Сабуров поднялся и, сложив руки рупором, крикнул на баржу:

- Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!

Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстегивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.

Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.

- Рама, - сказала девушка.

Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «фокке-вульф», который на фронте за его странный, похожий на букву П хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишен возможности маневрировать из-за баржи.

Оставалось только ждать те пять минут, которые отделяли их от берега.

Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он ее оставил, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду.

Сабуров подошел к ней:

- В случае чего, до берега доплывете?
- Я не умею плавать.
- Совсем?
- Совсем.
- Тогда станьте поближе туда, - сказал Сабуров. - Вон, видите, круг.

Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что все сразу загремело, перекошилось, и покотившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, перевернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув трубой воду, ушла в глубину.

Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. Тяжело налитые сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывет и так.

Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что ее уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт.

- Ой, слава богу, товарищ капитан, - обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.

Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастерки: он уже готов был прыгать в воду.

Бойцы один за другим подплывали к барже. Последним подплыл капитан парохода. Он влез, отфыркиваясь и чертыхаясь и еще глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове советоргфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.

Наперерез несшейся по течению барже от берега, пыхтя, спешил катерок.

- Готовься чалить! - крикнули с него хриплым басом.

Мешочек с песком на тонкой бечеве, со свистом перерезав воздух, шлепнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.

Позади баржи упало в воду еще несколько снарядов, и все стихло: близкий крутой берег мешал

немцам стрелять.

- Пересчитайте людей, - сказал Сабуров Масленникову, - да оденьтесь. Так и будете босиком стоять?

Масленников смущенно посмотрел на свои босые ноги и торопливо стал надевать сапоги.

Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурова свою шинель.

- Девушке дайте шинель, - сказал Сабуров. - Где она?

Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников.

- Ну?

- Восьми человек нет, - шепотом сообщил Масленников, и на его лице изобразилось страдание: еще только пристают к берегу, еще не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.

Баржа пришвартовалась. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулеметная трескотня. Сабурова, еще не знавшего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулеметы стреляли не дальше как в двух-трех километрах отсюда.

Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег. Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.

IV

К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, все окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди, на фоне ночи, по всему горизонту поднимались багровые столбы пожара, и где-то поверх, на черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулаке. Косой крупный дождь бил в лицо.

На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга на ощупь и по голосу, а кругом все шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.

С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около повозок, получали сухой паек и в темноте на ощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде, все было мокро: доски, навесы, развалины.

Близкая стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли очереди. Зато и слева и справа беспрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.

Хотя Сабуров понимал, что главная опасность начнется с рассветом, ему все-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет, – тогда, по крайней мере, можно будет разобраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.

Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины улиц, когда смертельно усталые люди кто как заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал комбата к командиру дивизии.

Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом здания, построенного вкось на обрыве. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Подвал освещался подвешенной на столбе лампой «летучая мышь».

Сабуров не разобрал лиц, но по гулу голосов понял, что в подвале много людей.

- Сабуров, – услышал он голос Бабченко.

- Ну что ж, теперь все, – сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.

Сабуров взгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел полтора месяца, с тех пор как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию недавно, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор еще не видел его. Полковник, относившийся неравнодушно и даже пристрастно к тем, кто с ним давно служил, сделал из темноты шаг вперед к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:

- Ну как, Алексей Иванович? Все живой еще?

- Все живой, – ответил Сабуров.

Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени-отчеству, подчеркивая этим перед остальными свое старое солдатское товарищество с ними, независимо от их званий.

- Живой, – улыбнулся Проценко. – И я живой. Это хорошо. – И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: – Старые друзья, товарищ генерал, еще под Москвой вместе были...

И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив еще раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского поселка, где они сегодня днем ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.

Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратной сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:

- Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?

- Сделаем, – сказал Бабченко.

- В каждый батальон я тебе дам присланных из армии командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры! - повернулся Проценко.

Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.

- Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная... - глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко. - Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше путаницы и потерь. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко? - сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял. - Сегодня ночью будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.

Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:

- А вы тоже должны помнить - ночью не числом, а неожиданностью, как в Воронеже... Помните Воронеж?

- Так точно.

- Хорошо помните?

- Так точно.

- Ну, тогда все. Держитесь как в Воронеже, и еще лучше. Вот и все, вся мудрость...

Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в черное кожаное, блестящее от дождя пальто с полевыми генеральскими петлицами. Очевидно, он дал Проценко все указания еще раньше и теперь только слушал.

- У вас приказаний не будет, товарищ генерал? - спросил Проценко. - Разрешите отпустить командиров?

- Сейчас, - сказал генерал и подошел ближе к свету.

Теперь Сабуров мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжелой львиной головой, смотревшими исподлобья тяжелыми глазами, с тяжелым подбородком и с общим выражением какого-то особенного упорства во всем - в глазах, в наклоненной голове, в стремительно подавшейся вперед фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.

- В уличных боях участвовали? - спросил он Сабурова.

- Так точно.

- Саперов вперед, автоматчиков вперед, лучших стрелков вперед. Поняли?

- Понял.

- И сами вперед. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.

- И у нас в дивизии тоже так принято, - сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью.

Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.

- Разрешите отправляться командирам? - повторил Проценко.

- Да, пусть идут, - произнес генерал.

Выходя, Сабуров почувствовал на себе его внимательный взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:

- Ничего, осилит...

Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же тот наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона по дороге.

- Что ж я тебе его рожу, что ли? - грубо отрезал Бабченко. - Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?

- Выполняет, - недовольно ответил Сабуров, но Бабченко сделал вид, что не понял его.

- А раз выполняет - пусть и дальше выполняет.

Они прошли еще несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал за личную храбрость, и, кроме того, это все-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать.

- Как думаете, товарищ подполковник, должно все хорошо сойти, а?

- Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.

Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда, ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчиненного. И Сабурову не захотелось больше ни о чем его спрашивать.

Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.

Сабуров позвал к себе Масленникова, политрука Парфенова, заменявшего комиссара батальона, и командиров всех трех рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева Гордиенко, маленького Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.

- Впереди, - объяснил он, развертывая план города, - лежит площадь. На той стороне - дома, уже взятые немцами, - три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью, - говорил он, подчеркивая значение этих слов только тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...

...Силы он поделил на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом - тоже в обход - будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдет

он сам...

Командиры молча слушали.

- Вы, - обратился Сабуров к Масленникову, - останетесь в резерве и, когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?

- Понял, - с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный тем, что при первом же деле его оставляют в резерве.

За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошел все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал еще под Воронежем, вызывал их поочередно, чтобы в этом первом, да еще к тому же ночном бою сразу же приняло участие как можно больше ветеранов. Если даже он за ночь потеряет много людей, то все-таки он потеряет их еще больше, если не возьмет дома́ до утра и то же самое придется делать, когда рассветет.

Обходя вторую роту, Сабуров вспомнил того солдата, с которым он говорил в Эльтоне. Этот немолодой усатый спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.

- Конюков, - позвал он.

- Здесь Конюков! - крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.

- Вот и Конюкова включите, - сказал Сабуров Потапову. - Он тоже пойдет.

Через полчаса роты с шедшими впереди отобранными Сабуровым штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшему дымом улицам.

Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый старший лейтенант, по фамилии Жук, привел батальон к задним дворам той улицы, фасады которой представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадка, на противоположном краю которой врезанными в нее полуостровами выделялись чуть видные в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днем отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан - командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привел Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сторону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдет с ним туда. Сабуров не возражал, - напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Слово почувствовав это, Жук сказал:

- Я вас провожу. Раз отдать сумели, теперь я должен суметь вас довести...

Сабуров наметил места, с которых всем трем атакующим группам предстояло начинать. На себя он взял центр площади. У него было больше всего людей, зато ему и приходилось идти прямо, через всю площадь, на которой единственным укрытием был темневший впереди, отмеченный на плане, круглый фонтан.

Перед началом Сабуров еще раз подозвал к себе Гордиенко и Парфенова. Вытащив из кармана коробку, где лежали четыре заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после

окончания дела, он молча сунул им в руки по папиресе, а третью стиснул зубами сам. Они присели на корточки, накрылись плащ-палаткой и по очереди прикурили. Затем, прикрывая огонь, потягивая из кулака, все трое поднялись.

Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперед? Они это знали. Чтобы они не боялись смерти? Они все равно ее боялись, так же, как и он. Сказать им, что очень нужно взять эти три дома?.. Но если бы это не было очень нужно, разве могли бы люди в кромешной темноте идти навстречу неизвестности и смерти? Конечно, это было очень нужно. И вместо всех этих слов он быстрым движением молча притянул к себе за плечи высокого Гордиенко и маленького, тщедушного Парфенова, притиснул их к себе сразу обоих своими длинными руками и так же молча отпустил их.

Когда они скрылись в темноте, он почему-то подумал не о себе, а о них: увидит ли он их? Увидят ли они его – об этом он не подумал.

Через минуту двинулся со своим отрядом и он сам. Пятьдесят или шестьдесят шагов Сабуров шел по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. Потом с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось по площади прошли первые трассирующие пули, потом вспыхнули одна за другой две маленькие белые ракеты и на несколько секунд осветили кусок площади с выступавшим впереди темным пятном фонтана и с людьми справа и слева от Сабурова, при этой внезапной вспышке сразу прижавшимися к каменной мостовой. Сабуров поднялся и бросился вперед. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши минометы и длинными очередями стали бить «максимы». Над головой с обеих сторон шло столько трассирующих пуль сразу, что у Сабурова вдруг мелькнула дикая мысль, что некоторые из них должны столкнуться в воздухе.

Дальше и время и жизнь измерялись уже только метрами...

Сабуров бесконечно вставал, поднимал людей, пробежал несколько шагов и снова падал плашмя на мостовую. Вскоре начали стрелять немецкие минометы. Мины рвались то спереди, то сзади, разворачивая мостовую. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил, и раскаты грома перемежались с разрывами мин. Одна мина разорвалась совсем близко. Сабуров бросился вперед, падая, больно ударился и когда в следующую секунду, поднимаясь, ухватился за что-то стоящее впереди, то при блеске внезапно сверкнувшей молнии увидел, что стоит прижавшись к фонтану, обхватив руками каменного ребенка. Голова у ребенка была снесена снарядом, и Сабуров держался за каменные ноги.

Этот большой круглый фонтан, служивший временным укрытием, в то же время неожиданно оказался препятствием. Как ни страшно было тут оставаться, еще страшней было пройти те сто метров, которые отделяли штурмующих от стен самого дома. Люди залегли за стенки фонтана и некоторое время никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед за фонтан, вытягивал за собой людей и снова возвращался за остальными. Пулеметные очереди все тесней прижимали их к земле, хотя потерь пока еще почти не было.

- Ишь чиркают, - слышался чей-то голос около Сабурова, когда они, уже в который раз, лежали плашмя. - Ишь чиркают, - тон был такой, будто речь и правда шла о спичке.

Сабуров узнал Конюкова.

- Страшней, чем в ту германскую? - спросил он, поворачивая лицо, но не отрывая головы от земли.

- Нет, - ответил Конюков, - ничего. А проволоки не будет?

- Не должно быть.

- Ну, тогда ничего. А то они, бывало, по двенадцати колов ставили. Уж ее режешь, режешь, - сказал Конюков спокойным голосом человека, только-только собирающегося начать длинный рассказ.

В этот момент ударила мина, и они оба прижались к земле.

- За мной! - крикнул Сабуров, выждав, когда работавший на ощупь немецкий пулемет перенес огонь куда-то левее.

И они снова пробежали несколько шагов.

Так продолжалось еще минут пять. Сабуров со смешанным чувством страха и радости думал о том, что он так, как и хотел, принял удар на себя и что группы Гордиенко и Парфенова тем временем, наверное, уже по балке и задними дворами незаметно подошли к домам с обеих сторон. Все это было бы хорошо, если бы не было так страшно от непрерывного белого, желтого, зеленого ливня трассирующих пуль.

Последние пятьдесят метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед к уже видневшимся стенам домов. Что бы там ни было - немцы, черти, дьяволы, - все равно это было лучше и не страшней, чем эта голая площадь, по которой они до сих пор ползли. Желание, которое, чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека, - желание дотянуться своей рукой до немца, безотчетно подняло их и бросило вперед.

Последние пятьдесят метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед к уже видневшимся стенам домов. Что бы там ни было - немцы, черти, дьяволы, - все равно это было лучше и не страшней, чем эта голая площадь, по которой они до сих пор ползли. Желание, которое, чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека, - желание дотянуться своей рукой до немца, безотчетно подняло их и бросило вперед.

Когда Сабуров подбежал к стене дома, оказалось, что окна первого этажа очень высоки. Тогда его телохранитель Петя подскочил к нему и подсадил его. Сабуров вцепился рукой в подоконник, с силой швырнул в окно тяжелую противотанковую гранату и сам опять упал вниз, на улицу.

Внутри раздался сильный взрыв. Петя опять подсадил Сабурова. Сабуров сел верхом на подоконник и, в свою очередь, протянул руку Пете. Тот тоже вскочил, опять протянул кому-то руку, и все они втроем или вчетвером ссыпались внутрь дома. Сабуров, по перенятой еще в начале войны от немцев привычке, на всякий случай, не глядя, дал от живота веером очередь из автомата. Кто-то совсем близко вскрикнул, в глубине тоже слышались стоны...

Сабуров на ощупь пересек комнату и, толкнув перед собой дверь, очутился в коридоре. Коридор был глухой, без окон, и в двух концах его - слева и справа - горели не потушенные немцами карбидные светильники. Из двери, расположенной далеко, в том конце коридора, выскочило сразу несколько человек. Сабуров скорее почувствовал, чем понял, что это немцы, и, пригнувшись, дал вдоль коридора длинную автоматную очередь. Несколько бежавших упало, один, спотыкаясь и размахивая руками, добежал до Сабурова и упал плашмя у его ног, а последний, метнувшись от стены к стене, прыгнул мимо Сабурова и столкнулся сзади с кем-то, злобно крикнувшим по-русски: «Ага, попал!»

Сабуров услышал сзади себя громкую возню и, крикнув на ходу: «Петя, за мной!» – побежал вперед по коридору.

В ближайшие полчаса трудно было в чем-либо разобраться. Бойцы Сабурова и немцы наскокивали друг на друга, в упор стреляли из автоматов, дрались, опять стреляли, бросали гранаты. По беспорядочной беготне, по тому, как металась немцы с верхнего этажа вниз и обратно, было ясно, что они испуганы и то, о чем злорадно мечтали бойцы, лежа на площади, – достигнуть врага штыком и рукой, – свершилось.

Постепенно бой перешел во внутренний двор и затих. Немцы или были убиты, или спрятались, или бежали. Их минометы, стоявшие на соседней улице, начали стрелять по дому, из чего следовало, что дом сейчас был снова нашим.

Начинало медленно светать. Сабуров послал связных к Гордиенко и Парфенову, которые, судя по тому, как и откуда стреляли немцы, тоже заняли свои дома слева и справа.

Когда совсем рассвело, наконец объявился старший лейтенант Жук. Он шел прихрамывая, за ним двигались трое бойцов и пятеро немцев со скрученными за спиной руками.

– Вот они... Скажи пожалуйста, в котельной в котел забрались, – с искренним, никогда не покидающим русского человека удивлением перед хитростью немца сказал Жук. – В котел ведь, скажи пожалуйста, – повторил он с видимым удовольствием оттого, что он все-таки нашел этих хитрых немцев.

Сабуров был доволен – и тем, что Жук жив, и тем, что он взял в плен немцев, но ноги его вдруг подкосились от усталости, и, сев на первый подвернувшийся стул, он почти равнодушно сказал, вытирая пот со лба:

– Да, значит, в котел...

– В котел, – с удовольствием в третий раз повторил Жук. – Что прикажете делать с ними, а?

– Вы в полк пойдете к себе? – спросил Сабуров.

– Да.

– Возьмите автоматчиков и сведите их туда, а потом дальше передадите.

– Есть свести к себе, – с радостью сказал Жук, – а автоматчиков не надо, у меня и так не убегут.

Услышав это, Сабуров почувствовал уверенность в том, что немцы действительно от него не убегут, и в то же время некоторую неуверенность – дойдут ли они с ним до штаба.

– Вы их доведете? – спросил он.

– А то как же, доведу... – ответил Жук тем ненатуральным тоном, при помощи которого люди, вообще не умеющие лгать, хотят изобразить в трудных случаях особую правдивость. – Вы теперь тут все хозяйство более или менее уже знаете?

– Более или менее, – ответил Сабуров.

– Ну, я к себе, – сказал Жук. – Прощаться не буду, я еще к вам в гости приду.

– Приходите, – улыбнулся Сабуров. – Я себе пока тут квартиру подыщу.

Жук уже повернулся, но, уходя, добавил:

- Только в нижнем этаже советую, в бельэтаже продует. Как увидят немцы, что в бельэтаже расположились, так все окна вместе со стенкой выбьют, уж это точно.

Сабуров в самом деле выбрал себе для временного командного пункта одну из полуподвальных, впрочем довольно светлых и больших, комнат. Когда он присел и, нахмутив лоб, пытался сообразить, что ему предпринять дальше, ввалился Конюков, волоча за собой пленного - рыжего немолодого немца, примерно его лет и комплекции.

- Словил, товарищ капитан. Словил и вам представляю...

У Конюкова был победоносный вид. Хотя он так же, как и Жук, скрутил пленному немцу руки за спиной, но теперь добродушно похлопал его по плечу. Немец был его добычей, и Конюков относился к нему по-хозяйски, как к своему добру. Сабуров, заметив по лычкам, что это фельдфебель, задал ему на ломаном немецком языке несколько вопросов. Немец ответил хриплым, придушенным голосом.

- Что говорит, а? Что говорит? - два или три раза, перебивая немца, спрашивал Конюков.

- Все, что нужно, говорит, - сказал Сабуров.

- Хрипит... Ишь ты, голос потерял, - удовлетворенно заметил Конюков, сам запыхавшийся от борьбы с немцем. - Это я его маленько придушил. А кто же он теперь по ихним званиям будет?

- Ты до кого в старой армии дослужился?

- До фельдфебеля, - ответил Конюков.

- Вот и он фельдфебель, - сказал Сабуров.

- Значит, так на так, - разочарованно протянул Конюков.

На завоеванной территории постепенно все образовывалось. Пленных набралось одиннадцать человек, и их свели в одну полуподвальную каморку. От Гордиенко из соседнего дома уже протянули телефон. Масленников, как сообщили связные, с остальной частью батальона скоро должен был прийти сюда.

В окнах полуподвала, заваливая их камнями, домашними вещами, чем попало, располагались пулеметчики и автоматчики. За каменной стеной, там, где указал Сабуров, поспешно рыли себе окопы минометчики. О том, чтобы раньше следующей ночи подтащить сюда кухни, нечего было и думать. Сабуров приказал людям расходовать неприкосновенный запас. Наблюдатель, забравшись высоко на чердак, под обгоревшую крышу, сообщил о продвижении немцев по ближайшим улицам.

Гордиенко сказал по телефону, что у него все в порядке, взял четырех пленных и укрепляется, ожидая дальнейших приказаний. Сабуров ответил, что единственное приказание - укрепляться как можно скорей.

Когда наконец протянули провод от Парфенова, Сабуров взял трубку.

- Лейтенант Григорьев слушает, - послышался молодой тонкий голос.

- А где Парфенов?

- Он не может подойти.
- Почему не может?
- Он ранен.

Сабуров положил трубку. Как раз в эту минуту к нему явился запыхавшийся и счастливый Масленников.

- Вот сюда попали, когда шел, - объявил он торжественно, показывая краешек галифе с дыркой от пули.

Сабуров усмехнулся.

- Если это вас так радует - боюсь, что вы тут часто будете ходить веселым. Привели людей?
- Привел.
- Без потерь, надеюсь?
- Трое раненых.
- Ну, это ничего... А у меня только убитых двадцать один, - шепнул он на ухо Масленникову. - Побудьте тут, я сейчас вернусь.

Взяв с собой Петю, Сабуров прошел по нижнему коридору до правого конца здания, вылез через пролом и, прячась между редкими чахлыми деревьями, перебежал к соседнему дому.

Немцы не сразу заметили его, и над его головой просвистело лишь несколько одиноких пуль.

Он застал Парфенова в той же комнате, где у телефона сидел лейтенант Григорьев. Парфенов лежал на полу. Под голову у него были подложены две полевые сумки - своя и чужая. Он истекал кровью. Большой осколок мины разорвал ему живот, и, когда вошел Сабуров, Парфенов только понимающе и грустно посмотрел на него и ничего не сказал.

Сабурову было жалко Парфенова, как всегда особенно жалко бывает людей, погибающих в первой схватке. Этот маленький, худенький человек, прибывший в батальон во время реформирования и до смешного не умеющий приказывать и повелевать, сейчас так мужественно и спокойно вел себя, так просто, не жалуясь, не говоря ни слова, умирал, что Сабурову невольно захотелось оказаться поближе к нему и сказать что-то самое хорошее. Сабуров сел на корточки и, поправив на лбу Парфенова слипшиеся мокрые волосы, спросил:

- Ну что, как, а, Парфеныч?

Парфенов, видимо, боялся заговорить, потому что тогда ему пришлось бы разжать зубы, а если бы ему пришлось разжать зубы, он закричал бы от боли. Он не ответил, только открыл и снова закрыл глаза, будто сказал: «Ничего...»

- Ну что, как, а, Парфеныч?

Парфенов, видимо, боялся заговорить, потому что тогда ему пришлось бы разжать зубы, а если бы ему пришлось разжать зубы, он закричал бы от боли. Он не ответил, только открыл и снова закрыл глаза, будто сказал: «Ничего...»

Сабуров, видя, как он умирает, не то что подумал, а с полной ясностью представил себе, как этот маленький человек только что, не крича, не говоря ни слова, бежал, наверное, впереди всех. Не наверное, а непременно бежал на немцев, не сгибаясь, первым.

- Ничего, Парфеныч, ничего, - повторил Сабуров бессмысленно ласковые слова и, нагнувшись еще ниже, поцеловал Парфенова в плотно стиснутые губы.

V

После двухчасового затишья с рассветом начался бой, который не прекращался четверо суток. Начался он с бомбежки, долгой и беспощадной. Вместе с «Юнкерсами-88» позицию батальона бомбили и «Юнкерсы-87» - те самые пикирующие бомбардировщики с воющими бомбами, о которых так много говорили еще во время немецкого вторжения во Францию. На самом деле никаких воющих бомб не было: просто под плоскостями самолетов были устроены приспособления, которые издавали страшный вой, когда «юнкерсы» пикировали. В сущности, это была нехитрая выдумка, повторявшая трещотки и пищалки на воздушных змеях.

К удивлению Сабурова, Конюков, так решительно действовавший ночью, перетрусил во время бомбежки и лежал на земле ничком, как убитый, не поднимая головы.

- Конюков! - окликнул Сабуров, подходя к нему. - Конюков!

Конюков опасливо поднял голову, увидел капитана, неожиданно вскочил, схватил его за плечо и повалил рядом с собой.

- Ложитесь! - закричал он не своим голосом.

Сабуров с трудом оторвал его руку от своего плеча и сел рядом с ним.

- Что «ложитесь»?

- Ложитесь, - повторил Конюков, снова пытаясь вцепиться в него и повалить на землю.

И Сабуров понял, что только ввевшаяся в плоть и кровь солдатская дисциплина в соединении с привычкой беречь командира заставила смертельно испуганного Конюкова вскочить с земли для того, чтобы заставить его, Сабурова, лечь рядом с собой.

- Так и будешь лежать все время?

- Как прикажете, товарищ капитан.

- Да что ж прикажу... Лежи, терпи, только зачем время терять... Бомбят - приляг, улетели - поднимись...

- Боязно, товарищ капитан. Вы не думайте - я обтерплюсь, а то ведь страшно как-то.

Именно эта искренность убедила Сабурова, что Конюков действительно не нынче-завтра обтерпится.

Перед полуднем по телефону позвонил Бабченко.

- Я у тебя не буду, - сказал он, - я в другое хозяйство схожу. К тебе, наверное, хозяин придет,

так что смотри...

И он положил трубку.

Хозяином, как водится, в дивизии называли Проценко. «Смотри» означало, что Сабуров должен проявить характер и постараться не пустить хозяина в самые опасные места, куда тот будет лезть.

И в самом деле, вскоре пришел Проценко со своим адъютантом и автоматчиком. После того как Сабуров отрапортовал ему, он, по обыкновению, спросил:

- Как здоровье, Алексей Иванович? - и протянул левую, здоровую руку. Правая после ранения у него все еще не работала, и он во время разговора шевелил пальцами, пробуя этим восстановить кровообращение и заменить предписанный врачами массаж. - Добре, добре, - прохаживаясь, говорил Проценко и оценивающим взглядом окидывал потолок. - Пятьсот килограммов придется фрыцу, - он говорил «фриц» на «ы», с украинским акцентом, - пятьсот килограммов придется фрыцу на тебя потратить, если ты ему не понравишься. А если пятьсот потратить пожалеет, так ничего и не будет.

Проценко облазил с Сабуровым пулеметные точки, потом подошел с ним вместе к каменной стене, за которой отрыли себе окопы и расположились минометчики. Он недовольно посмотрел на мелкие, небрежно вырытые щели и, обращаясь в пространство, как будто не замечая тут же находившихся минометчиков, сказал:

- Как ты думаешь, Алексей Иванович, кто на войне нас убивает? Ты мне скажешь: немец... А я тебе скажу - не только немец, а еще и лень.

Он повернулся к минометчикам и спросил сразу ставшего перед ним навытяжку сержанта:

- Птицу страуса знаешь?

- Так точно.

- А чем он на тебя похож, знаешь? Не знаешь. Так он тем на тебя похож, что так же, как и ты, прячется: голову спрячет, а задница наружу, и думает, что весь спрятался. Ложись! - вдруг пронзительным голосом закричал Проценко.

- Что? - не поняв, переспросил сержант.

- Ложись! Вот я - мина. Ложись в свой окоп, пока живой...

Сержант с размаху бросился в свой маленький окопчик, в котором, как и предсказал Проценко, он весь не уместился.

- Ну вот, - сказал Проценко, - голова, правда, цела, а ползадницы отстрелили. Нету. Встать! - опять резко крикнул он.

Сержант встал, смущенно улыбаясь.

- Отдай приказание, - сказал Проценко Сабурову и, повернувшись, пошел дальше.

Сабуров, задержавшись, приказал отрыть глубокие окопы и бросился догонять Проценко.

У каменной стены лежали двое пулеметчиков. Они постарались спрятаться поглубже за

стенку, и действительно спрятались так глубоко, что дуло их пулемета глядело чуть ли не в небо. Проценко, подойдя, лег за пулемет, проверил прицел и потом, стряхивая с колен каменную пыль, встал.

- Охотник? - спросил он немолодого рябоватого сержанта, первого номера пулемета.

- Да случилось, товарищ полковник, - настроившись на душевный разговор с начальством, с готовностью сказал тот.

- Вот я и вижу, что ты охотник, - сказал Проценко. - Уток тут бить собираешься, пулемет в небо уставил... Хорошо уставил, как раз на взлете их бить, - мечтательно и в то же время иронически добавил он. - Жаль только, что немцы все больше по земле ходят, а то бы, ничего не скажешь, хорошо устроился...

И он, повернувшись, все той же неторопливой походкой пошел дальше. Первый номер проводил его смущенным взглядом и набросился на второго номера:

- Я же тебе говорил: куда дуло глядит - в небо... Куда пулемет поставил, а?

- Да вы что ж, - растерянно оправдывался второй номер. - Я же, как вы...

- Мало ли что я. А ты, как второй номер, должен вместе со мной позицию выбирать...

Окончания их спора Сабуров не расслышал. Проценко шел дальше и, все пошевеливая пальцами раненой руки так, словно барабанил по воздуху какую-то мелодию, говорил, не обращаясь к Сабурову, опять в пространство, что было у него признаком дурного настроения:

- Командир дивизии устанавливает, куда пулемет должен глядеть - в небо или на землю... Очень хорошо. Для этого его в Академии генерального штаба учили... И когда вы у меня краснеть научитесь? - резко повернувшись, крикнул он Сабурову. - Когда я вас краснеть научу?

Сабуров молчал. Полковник был прав, и, даже если бы позволял устав, возразить было нечего.

- Вот когда у нас командиры дивизий перестанут пулеметы устанавливать и когда вы у меня краснеть научитесь, вот тогда мы выиграем войну, а раньше ни за что не выиграем, - так ты и знай...

Только что успели они оба вернуться в штабной подвал, как немцы начали перед атакой артиллерийскую и минометную подготовку.

- В общем, зацепился ты ничего, зацепился так, что удержишь, - заключил Проценко, наклонив немного голову набок и прислушиваясь к разрывам. - Удержишься, но людей учить надо... День и ночь надо учить... Потому что если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют, и не просто убьют - просто убьют, ну и что же, на то и война, - а задаром убьют, вот что печально. Где у тебя наблюдательный пункт?

- На четвертом этаже под крышей.

- Ну-ка, слазай, как там... А тут скажи, чтоб мне пока закусить чего-нибудь дали.

Сабуров на ходу шепнул Пете, чтобы тот накормил полковника, и полез на четвертый этаж. Оттуда, из широкого трехстворчатого окна, выходившего на обгорелый балкон, было видно

почти все происходящее впереди. На соседней улице от дома к дому, от палисадника к палисаднику перебежали немцы. Снаряды вздымали столбы земли у самого дома, иные из них с грохотом попадали в стены, и тогда весь дом содрогался, словно его качало большой волной.

Сабуров заметил, что больше всего мелькания и суеты у немцев было против правого дома – там, где теперь сидел вместо убитого Парфенова Масленников. Сабуров сбежал по лестнице в подвал и позвонил по телефону сначала Масленникову, а потом Гордиенко, предупреждая их о готовящейся атаке. Оба они ответили, что наблюдают сами и к бою готовы.

Проценко, без крайней нужды не любивший вмешиваться в распоряжения своих подчиненных, сидел в подвале и спокойно грыз черный сухарь, положив на него кусок сухой колбасы. Когда под гул все продолжавшихся минных разрывов началась немецкая атака, Проценко, несмотря на уговоры Сабурова, сам поднялся с ним на наблюдательный пункт. Там они стояли примерно час. Сабуров нервничал: ему хотелось увести Проценко куда-нибудь вниз. Когда тяжелый снаряд, пробив стену, разорвался в соседней комнате и оттуда через пролом посыпались куски кирпича и штукатурка, он дернул полковника за руку и хотел стащить вниз. Но Проценко освободил руку, посмотрел на него и вместо полагающегося в таких случаях начальнического окрика сказал только:

- Сколько мы с тобой воюем? Второй год? Так что ж ты меня за руку тянешь?.. - И, считая разговор законченным, сняв фуражку, стал щелчками аккуратно сбивать с нее известковую пыль.

Когда немцы отступили после первой неудачной атаки и Сабуров с Проценко стали спускаться с наблюдательного пункта, запоздалый снаряд ударил как раз в лестничную клетку на этаж ниже их. Взрывом был начисто выдран целый пролет лестницы, и им пришлось спускаться, цепляясь за вывернутые балки и остатки перил.

- Понимаешь теперь, что нельзя начальство торопить? - язвил Проценко. - Поторопил бы, как раз и подставил бы меня под эту дулю. Тебе что Бабченко говорил: «Хозяин будет, имей в виду...» - вдруг смешно скопировал он Бабченко. - А ты меня под дулю чуть не подвел...

Проценко ушел от Сабурова в час затишья, между первой и второй атаками немцев.

- Ничего, бувай здоровенький, - сказал он Сабурову на прощанье. И добавил конфиденциально: - Вот когда научусь лучше воевать, то в батальоны ходить перестану, пусть командиры полков ходят, а я только до штаба полка ходить стану... Но к тебе по старому знакомству буду заглядывать. Кто вместе под Воронежем был, то все равно что вместе детей крестили. Как к куму заходить буду.

Он повернулся и вышел, как всегда немножко прихрамывая и барабаня по воздуху пальцами.

Перед вечером немцы еще раз пошли в атаку, но были отбиты. Когда начало темнеть, Петя принес Сабурову котелок вареной картошки.

- Где достал? - удивился Сабуров.

- Здесь, поблизости, - сказал Петя.

- А где же все-таки?

- Да так, поблизости, - скрытничая, повторил Петя.

Пока Сабуров, которому хотелось есть и некогда было объясняться, уплетал за обе щеки картошку, Петя стоял над ним в позе матери.

- А где же ты все-таки ее добыл? - уже сытым, разморенным голосом спросил Сабуров.

На лице Пети изобразилась душевная борьба. С одной стороны, нужно было ответить на вопрос, с другой стороны, ему хотелось удержать перед капитаном в тайне вновь открытую им базу снабжения. Сабуров посмотрел в его каменное лицо и улыбнулся.

Петя отличался храбростью, заботливостью и веселым нравом - тремя главными качествами, которых можно пожелать в ординарце. До войны он работал агентом по снабжению на одном из московских заводов. Эту работу он любил еще во времена первой пятилетки. Достать неведомо как, неведомо где то, чего никто не мог достать, - в этом была для него особая прелесть. Он доставал двутавровые балки в Ялте, виноград в Костроме и строевой лес в Каракумах. Он делал заведомо невозможное, и это его привлекало. Он ничего не искал и не устраивал лично для себя, но для того, чтобы достать материалы, нужные заводу, на котором он работал, он был готов на все. Его ненавидели конкуренты и ценили начальники. На войне, попав ординарцем к Сабурову, он, кроме храбрости перед лицом неприятеля, обнаружил невероятное мужество перед лицом всяческих трудностей военного снабжения. Когда в батальоне нечего было есть, Сабуров отправлял на поиски еды Петю, и Петя всегда что-нибудь находил... Когда нечего было курить, Петя находил и курево. Когда нечего было пить, Петя всегда отыскивал хоть небольшую толику водки, и так быстро, что Сабуров подозревал, что у него имеется тайный неприкосновенный запас.

У Пети был только один недостаток: даже когда он не совершал ничего незаконного, он все равно любил покрывать свои успехи дымкой таинственности и очень огорчался, когда Сабуров или кто-нибудь другой задавали ему вопросы.

- Так где же ты все-таки достал? - повторил Сабуров, и Петя, чувствуя, что ему не отвертеться, решил признаться.

- Здесь, - ответил он. - Там во дворе флигелек, под флигельком подвал, а в этом подвале гражданка...

- Какая гражданка? - поднял брови Сабуров.

- Сталинградская гражданка, здесь и жила во флигельке. Муж убитый. С троими детьми в подвал залезла и сидит... У нее там всего - картошки, морковки и прочего... чтоб с голоду не помереть. И даже коза у нее в подвале, только, говорит, от темноты доиться перестала. Я говорю: «Командир мой картошку уважает». Она без звука котелок наварила, говорит: «Когда нужно, пожалуйста», и даже сала дала... Вот вы ж не замечаете, а, между прочим, с салом картошку кушаете, - с огорчением добавил Петя.

Сабуров, удивленный тем, что среди этих развалин вдруг оказалась женщина с детьми, быстро поднялся, нахлобучил фуражку и обратился к Пете:

- Веди, где она?

Они пошли коридорами, пригнувшись, пробежали простреливаемое место до флигелька, и там действительно среди развалившихся стен Сабуров увидел обложенное камнями и досками подобие двери. По самодельной лестнице из нескольких ступенек они спустились вниз. Это был большой подвал, видимо во время войны еще расширенный. Поставленная на прикрытую досками бочку, в углу горела коптилка.

Около бочки на корточках сидела еще не старая, с измученным лицом женщина и укачивала ребенка. Две девочки, на вид лет восьми и десяти, сидели рядом с ней и остановившимися от любопытства глазами смотрели на вошедших.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте, - ответила женщина.

- Почему вы здесь остались? - спросил Сабуров.

- А куда же нам идти?

- Да ведь здесь были немцы?

- А мы сверху завалились всем, - спокойно пояснила женщина, - так что и не видно.

- Завалились... Так задохнуться можно было.

- А все равно, если немцы...

- Сегодня уже поздно, - сказал Сабуров. - Завтра подумаю, как вас отправить отсюда.

- А я не пойду.

- Как не пойдете?

- Не пойду, - упрямо повторила она. - Куда я пойду?

- На ту сторону, за Волгу.

- Не пойду. С ними? - указала женщина рукой на детей. - Одна бы пошла, с ними не пойду. Сама жива буду, а их поморю, помрут там, за Волгой. Помрут, - убежденно повторила женщина.

- А здесь?

- Не знаю. Снесла сюда все, что было. Может, на месяц, может, на два хватит, а там, может, вы немца отобьете. А если идти - помрут.

- Ну а вдруг бомба или снаряд, об этом вы подумали? - сказал Сабуров, уже не пытаясь ее убедить, но все ещё будучи не в состоянии примириться с мыслью, что здесь, рядом с ним и его солдатами, продолжает жить женщина с тремя детьми.

- Что ж, - спокойно отвечала женщина, - попадет, так уж всех сразу - и меня и их, один конец.

Сабуров не знал, что ей сказать. Наступило долгое молчание.

- А если что сготовить, так я сготовлю, кушайте. У меня картошки много... Пусть он скажет, если надо, - кивнула она на Петю. - Я и щи сварю, только без мяса... А то козу зарежу, - после паузы добавила она. - Зарежу, тогда можно и с мясом.

Она почувствовала по глазам Сабурова, что он понял ее и не будет настаивать, чтобы она ушла, и если она сейчас говорила о том, что сготовит и сварит, то не ради того, чтобы ее оставили здесь и не трогали, а просто по исконной жалости русской женщины. Надо им сготовить, этим

солдатам (в чинах она не разбиралась), покуда они здесь, хотя бы щей, а уж коли щи варить, то и козу не жалко зарезать – на что она теперь, коза? Все равно не доится.

Сабуров вышел на воздух и, посмотрев на развалины, еще раз подумал так же, как тогда, в Эльтоне: «Куда загнали, а?» Впереди были немцы. Он оглянулся на свой изрешеченный, избитый осколками дом.

«А вот это мы...»

И он спокойно подумал, что никуда не уйдет из этого дома.

Ночь прошла в непрерывной перестрелке.

С рассветом немцы пошли в третью атаку. Им не удалось продвинуться прямо против домов, которые занимал Сабуров, но справа и слева от него они прорвались по окраинам площади. В девять часов утра он услышал по телефону, как всегда, глуховатый, ворчливый голос Бабченко:

- Ну как там, держишься?

- Держусь.

- Держись, держись. Я скоро к тебе сам приду.

Эти слова были последними, услышанными им по телефону. Через минуту связь оборвалась, и хотя он не любил ни самого Бабченко, ни его ворчливого голоса, но все следующие трое суток, когда не было никакой связи ни с кем, он все вспоминал эти слова, и они помогали ему верить, что он не один, что еще будет и телефон, и Бабченко, и дивизия, и все вообще.

Связь была оборвана. Бабченко, конечно, к нему не дошел: немцы заняли сзади всю площадь и дома кругом нее, и Сабуров вместе со всем батальоном попал в обстановку, которая в бесконечно разнообразных ее видах на войне называется общим словом «окружение». Ему предстояло сидеть здесь, не пускать сюда немцев и ждать – либо того, что к нему прорвутся и помогут, либо того, что у них выйдут последние мины и последние патроны и им останется умереть. И хотя иногда он сам склонен был думать, что случится второе и что мины и патроны у них кончатся раньше, чем придут на помощь свои, но всем, кто был вокруг него, – и командирам и бойцам – он старался внушить обратное. И так как они знали только то, сколько у них у самих патронов в подсумке и мин в ящике, им казалось, что у него, у капитана, есть еще запас. А он знал, что этого запаса нет и не будет. И от этого ему было труднее, чем всем остальным.

Он учил стрелять наверняка, только наверняка. Он отобрал патроны у большинства бойцов, скопив их только у отличных стрелков. У остальных он оставил лишь гранаты на случай боя с прорвавшимися немцами уже в самом доме. До этого за трое суток доходило только дважды – немцев удалось отразить оба раза. У стены, на дворе, прямо перед выбитыми окнами дома, лежали в разных позах мертвые немцы. Их никто не убирал – не было ни времени, ни сил, ни желания...

На третий день в подвале, где расположился Сабуров, разорвался пробивший стену снаряд. По странной случайности никого не убило: Петя вышел, а Сабуров, который на минуту прилег на койку, от удара только свалился с нее и, поднявшись, заметил, что вся стена над его головой была словно в кровавых пятнах – это отбитая в сотне мест штукатурка обнажила кирпичи.

Пришлось перебраться в чудом сохранившуюся квартиру первого этажа, куда еще два дня назад просил его перебраться Петя. То, что квартира сохранилась среди общего разгрома, внушало суеверную мысль, что, быть может, в нее так и не попадет ни один снаряд.

На четвертый день, когда все тряслось и дрожало от артиллерийской канонады, в комнату тихо вошла женщина и поставила на стол глиняную миску.

- Вот щи сварила, попробуйте, - сказала женщина.

- Спасибо.

- Если понравятся, еще принесу.

Сабуров посмотрел на нее и ничего не ответил. Все это было странно, почти невероятно - блиндаж с тремя детьми, женщина, сварившая щи... И в то же время было в этом невероятное спокойствие - то самое, с которым бронбойщик, берясь за свое противотанковое ружье, вместо того чтобы бросить и примять сапогом сигарку, кладет ее в окопе на земляную полочку, с тем чтобы докурить потом, когда кончится... Что-то такое же было и в этой женщине, в том, как она пришла...

- Спасибо, спасибо, - повторил Сабуров, видя, что она продолжает молча стоять, и, вдруг поняв, чего она ждет, вытащил из-за голенища ложку.

- Хорошие щи, вкусные, - похвалил он, - очень вкусные... Вы идите, а то сейчас стрелять начнут.

Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его - таким тот был небритым и вдруг странно повзрослевшим. Глядя на Масленникова, Сабуров подумал, что, наверное, он и сам переменялся за эти дни. Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шел бой, - но одно он твердо знал и еще тверже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале, - все это, вместе взятое, была Россия, и он, Сабуров, защищал ее. Если он умрет или сдастся, то этот кусочек перестанет быть Россией и станет немецкой землей, а этого он не мог себе представить.

Всю четвертую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды, и немецкие и наши, и к утру наши, пожалуй, даже чаще, чем немецкие. Сабуров сначала не верил, потом верил, потом опять не верил и только уже к рассвету подумал, что иначе не может быть и что к нему пробиваются свои.

С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Они гнались за немцами, им казалось, что и здесь тоже немцы. Было трудно, почти невозможно удержать их и не дать им бежать дальше по этим коридорам и подвалам дома в поисках немцев.

Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, такой надоедливый, грубый и придиричивый, такой усталый, обросший, долгожданный Бабченко, с повешенным на шею автоматом, с руками и коленками, измазанными в грязи и известке.

- Я ж тебе обещал по телефону, что скоро приду, - сказал, почти крикнул Бабченко.

Все еще непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересек комнату, сел за стол и наконец, вернув своему лицу обычное скучное и недовольное выражение, спросил прежним своим тоном:

- Сколько потерь?

- Пятьдесят три убитых, сто сорок пять раненых, - ответил Сабуров.

- Не бережешь людей, - сказал Бабченко, - не бережешь, мало бережешь. А так ничего, держался хорошо. Скажи, чтобы мне воды дали.

Сабуров повернулся к Пете и сказал насчет воды, но когда он обернулся снова, то оказалось, что вода подполковнику уже не нужна: привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он спал. Наверное, он не спал все эти дни, так же как и Сабуров. Сабуров подумал об этом и вдруг, вспомнив о себе и обо всех этих четырех днях, почувствовал ломившую кисти усталость. Чтобы не свалиться у стола, так же как Бабченко, он встал, прислонившись к стене, и с трудом вытащил из кармана свои большие часы. На них было 9.15 - прошло ровно четверо суток и семь часов с тех пор, как он, подсаженный Петей через проломанное окно, вслед за брошенной гранатой вскочил в этот дом.

VI

К тем четырем суткам боев, которые Сабуров отсчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой прибавилось еще четверо суток, наполненных визгом пикировщиков, ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких атак. Только на девятые сутки наступило какое-то подобие затишья.

Сабуров лег вскоре после наступления темноты, но через три часа его разбудил звонок. Бабченко, не любивший, чтобы подчиненные спали тогда, когда он сам не спит, потребовал у дежурного, чтобы тот разбудил Сабурова.

Сабуров встал с дивана и подошел к телефону.

- Спите? - глухим, далеким голосом спросил в телефон Бабченко.

- Да.

- Спите, а у вас все в порядке?

- Все в порядке, - ответил Сабуров, чувствуя, что с каждой секундой этого злившего его разговора с него все больше соскакивает сон.

- Меры на случай ночной атаки приняли?

- Принял.

- Ну, тогда спите.

И Бабченко положил трубку.

По тому, как Сабуров вздохнул, Масленников, тоже проснувшийся и сидевший на кровати

против него, мог примерно представить, какого содержания был разговор.

- Подполковник? - спросил Масленников.

Сабуров молча кивнул и попробовал снова лечь и заснуть. Но, как это часто бывает в дни особенной усталости, сон уже не возвращался. Полежав несколько минут, Сабуров спустил босые ноги на пол, закурил и впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб.

На клеенке, покрывавшей стол, остались два свежепрожженных круга - один побольше, очевидно от сковородки, другой поменьше - от кофейника. Вероятно, хозяин квартиры уехал отсюда, предварительно отправив семью, и последние несколько дней вел непривычный для себя холостяцкий образ жизни. У шкафа воздушной волной были выбиты стеклянные дверцы, и он ничего не мог сказать о хозяевах, потому что из него все было вынуто. Зато на письменном столе были многочисленные следы жизни всей семьи. Спицы с начатым вязанием, кипа технических журналов, несколько растрепанных томиков Чехова, старые, замусоленные учебники третьего класса и аккуратная стопка новых учебников четвертого... Потом Сабурову попались на глаза детские тетради по русскому языку. Он с профессиональным любопытством человека, который когда-то готовил себя к педагогической карьере, стал перелистывать эти тетрадки. На первой странице одной из них начиналось сочинение: «Как мы были на мельнице». «Вчера мы были на мельнице. Мы смотрели, как мелют муку...» В слове «мелют» «ю» было зачеркнуто, поставлено «я», снова зачеркнуто и восстановлено «ю». «Сначала зерно везут на элеватор, потом с элеватора транспортер везет его на мельницу, потом...»

Закрыв тетрадку, Сабуров вспомнил, как еще с левого берега Волги он видел огромный пылавший элеватор, может быть, тот самый, о котором прочел сейчас в этой ученической тетрадке.

Масленников, сидевший напротив, свесив ноги, в той же позе, что и Сабуров, тоже дотянулся до тетрадок, медленно перелистал их и заговорил о своем детстве. В разговорах с Сабуровым, со времени их знакомства, он возвращался к этой теме несколько раз, и сейчас Сабуров почувствовал, что Масленников не столько хочет ему рассказать о своем детстве, сколько хочет наконец вызвать его самого на разговор о прошлом.

Сабуров не принадлежал к числу людей, молчаливых от угрюмости или из принципа; он просто мало говорил: и потому, что почти всегда был занят службой, и потому, что любил, думая, оставаться со своими мыслями наедине, и еще потому, что, попав в компанию, предпочитал слушать других, в глубине души считая, что повесть его жизни не представляет особого интереса для других людей.

Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям и неторопливо перебирая лежавшие на столе вещи.

Второй ребенок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листиков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с черным дымом фашистские самолеты и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом наш истребитель. Это было исконное детское представление о войне - мы только стреляли, а фашисты только взрывались.

Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям и неторопливо перебирая лежавшие на столе вещи.

Второй ребенок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листиков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с черным дымом фашистские самолеты и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом наш истребитель. Это было исконное детское представление о войне – мы только стреляли, а фашисты только взрывались.

Впрочем, как ни горько было вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие взрослые люди были недалеки от такого именно представления о ней.

Война... Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил ее всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие – помогали. Вторых было больше, должно быть потому, что люди, подобно ему начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их своими повседневными тяготами.

Так же как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он два года прослужил на действительной в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска.

Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем не к той профессии, о которой он мечтал с детства. И все-таки, как и многие другие, он в конце концов нашел в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить все это на студенческую скамью и койку в общежитии.

За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года он сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и три месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, три раза выходившего из окружения, два раза награжденного и пять раз раненного и контуженного, сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, быть может, и могла бы на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не висел автомат.

Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминаявший свою, медленно свернул самокрутку, вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против пего. Так они сидели оба и молчали, может быть, пять, может быть, десять минут. Потом Масленников опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова:

- Ну, а у вас любовь?

- Что любовь?

- Любви разве у вас не было?

- Любви? - Сабуров затаился и закрыл глаза. Любви... разве в самом деле ее не было в его жизни?

Он вспомнил нескольких женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь так же, как, очевидно, он прошел мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты: он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего это выходило так - легко и коротко - не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось ее. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так непохоже на любовь, как он ее представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на нее. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников после долгого молчания переспросил: «Неужели не было любви?» - он сказал: «Не знаю, не знаю, должно быть, не было...»

Он встал с дивана и несколько раз пересек комнату.

«Нет, не может быть, чтобы ее не было, - подумал он, - вернее может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет».

И вдруг вспомнил слова девушки на пароходе, что она больше боится смерти оттого, что у нее не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый и у него, наверное, уже все было.

«Нет, не все, - подумал он. - Не все. Боже мой, как много и как мало все-таки всего было и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже все было...»

Он еще раз пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо.

- Слушай, Миша, - сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям. - Слушай, Миша. Нам с тобой никак нельзя умирать. Ну никак, просто никак...

- Почему?

- Не знаю. Знаю только, что нельзя.

Вошедший связной сказал только одно слово: «Атакуют». Сабуров сел на диван, наспех подвернул портянки, натянул сапоги и сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастерки шинель.

- Вот поспать и не успели, - сказал он Масленникову, застегивая ремень.

И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию надо всем, что только что вспоминалось и что все-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим всю их жизнь словом: «атакуют».

VII

Сабуров, вернувшийся к себе после того, как известие о немецкой атаке на этот раз оказалось

ложной тревогой, так и не лег. Было пять часов утра – самый тихий час суток. Сабуров подошел к выломанной и занавешенной плащ-палаткой двери в коридор. Он хотел позвать Петю, чтобы тот приготовил чего-нибудь поесть. Откинув плащ-палатку, он остановился. Не замечая его, Петя и дежурный связист сидели рядом на полу и разговаривали.

– Спрашиваешь, когда эта война кончится? – говорил Петя. – Как немца добьем, так и кончится, а когда добьем – кто его знает...

– Ох и далеко ж их гнать... – Связной пустил дым колечками и посмотрел в потолок. – Далекое, – добавил он с выражением полной уверенности, что это именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы.

Не желая, чтоб вышло, что он невольно подслушал их разговор, Сабуров опустил плащ-палатку, вернулся, сел за стол и громко крикнул Петю. Петя немедленно появился в дверях.

– Что-нибудь позавтракать сообрази.

– Есть сообразить, – отозвался Петя, и за плащ-палаткой стало слышно, как он возится, погромыхая котелками и консервными банками.

– Как раненные у нас? Все наконец вывезены? – спросил после молчания Сабуров у Масленникова.

– Вечером оставалось еще восемнадцать человек, – сказал Масленников. – Бомбежка – не осколком, так камнем, не камнем, так стеклом.

– Да, в открытом поле лучше, – согласился Сабуров.

Он досадливо поморщился, и на его лице появилось злое выражение.

– А ведь, между прочим, вокруг Сталинграда обвод был, – заметил он.

– Я знаю, мне говорили...

– Там километрах в пятнадцати от города и рвов накопано, и окопов, и дзотов, и бетонных колпаков наставлено. Масса народу, говорят, день и ночь работало, а драться там так и не дрались.

– А почему?

– Если бы ты знал, Миша, – с грустью сказал Сабуров, – сколько я за год войны видел зря нарытых окопов и рвов. Миллионы кубометров земли от самой границы и досюда зря вырыты. А почему? Потому что часто выроем позади себя линию, а войска не сажаем туда заранее, ни орудий не ставим, ни пулеметов – ничего. По старинке думаем: отойдем и займем, а немцы – раз! – и обошли и раньше нас там оказались... А окоп без человека – мертвое дело... Так и идут эти укрепления сплошь и рядом коту под хвост. А мы потом дойдем до города, упремся в него спиной, выроем новые окопы не за три месяца, а за три дня, как попало, и в них деремся до конца, до смерти. Тяжело и обидно... Да, так, значит, восемнадцать раненных к вечеру осталось, – вернулся он к первоначальной теме разговора. – Ну-ка справься, как их теперь, уже вывезли или нет.

Масленников вышел. Сабуров достал нож и поправил им фитиль в самодельной лампе «катюше». Лампа представляла собой гильзу от 76-миллиметрового снаряда, наверху она была

сплюснута, внутрь был просунут фитиль, а немножко выше середины была прорезана дырка, заткнутая пробкой, – через нее заливали керосин или, за неимением его, бензин с солью.

Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесенную Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может, оттого, что всего шестой час утра, – в сущности говоря, необеденное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.

Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесенную Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может, оттого, что всего шестой час утра, – в сущности говоря, необеденное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.

– Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? – сказал Масленников. – Та девушка, которую вы из воды вытащили, она приехала.

– Ну? – спросил Сабуров.

– Она их, оказывается, все время вывозила, только я ее не видел. Я ее сюда привел. Пусть отдохнет, посидит, – тихо добавил Масленников.

– Пусть, конечно, конечно, – неожиданно вспомнив о том, что он здесь хозяин и что среди прочих обязанностей у него есть еще и обязанность гостеприимства, сказал Сабуров.

Масленников вышел в коридор и громко крикнул:

– Аня! Аня, где вы?

Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти восемь дней как будто еще похудела.

– Садитесь, садитесь, – засуетился Сабуров.

Он старался быть гостеприимным, но делал все особенно неловко. Вместо того чтобы просто подвинуть табуретку, он поднял ее и опустил на пол с таким треском, что девушка вздрогнула.

– Как вы живете? – ни к селу ни к городу спросил Сабуров.

– Ничего, – ответила девушка и, улыбнувшись, села. – А вы?

– Тоже ничего.

– Что ничего? Прекрасно, – бодро подхватил Масленников. – Прекрасно живем. Вот видите, как у нас... – Он гордо развел руками, как будто все окружающее действительно свидетельствовало об их прекрасной и комфортабельной жизни.

– Значит, это вы у нас вывозили раненых? – спросил Сабуров.

– Первый день не я, – сказала девушка, – а эти три дня я...

– Всего сто восемь человек вывезено?

- Да. С теми, что в первый день. А я девяносто.
 - Никого на переправе не выкупали?
 - Нет, - и она улыбнулась, очевидно при воспоминании о том, как выкупалась сама, - никого... Только вечером с самолета нас обстреляли на плоту. Четверых убили.
 - Моих?
 - Нет, не ваших.
 - Вы тогда так исчезли...
 - Да, я забыла вас поблагодарить.
 - Я не к тому.
 - Я знаю. Ну все равно спасибо.
 - Вы когда обратно? - спросил Сабуров.
 - Придется до вечера ждать. Я опоздала, сейчас уже светло.
 - Да, когда светло, от нас в тыл не проберешься, это верно. Ничего, вы отдохните тут.
 - Да, я сейчас пойду отдохну, там мои санитары уже легли, они две ночи не спали, - сказала девушка, приподнимаясь.
 - Нет, куда вы, куда вы? Вы тут отдохните. Мы сейчас уйдем с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните.
 - А я вам не помешаю?
- По тому, как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала и что койка, на которую она могла лечь и укрыться, представлялась ей почти чудом.
- Нет, что вы, - успокоил он.
 - Тогда хорошо, я отдохну, - просто сказала девушка.
 - Только вы сначала покушайте.
 - Хорошо, спасибо.
 - Петя, - крикнул Сабуров, - принеси что-нибудь покушать!..
 - Так вот же, - показал, появляясь, Петя, - стоит у вас, товарищ капитан, сковородка.
 - Ах, верно... - Сабуров пододвинул сковородку девушке.
 - А вы?
 - Мы тоже.

Сабуров отвинтил пробку лежавшей на столе немецкой фляги и налил себе и Масленникову в

снарядные головки или, как их называли между собой, «фугасники». Они последнее время все чаще заменяли стопки и стаканы.

- Выпьете? - спросил он.

- Когда устану, пью, - сказала она, - только половину...

Он налил ей, и она выпила вместе с ними, спокойно, не морщась, как послушный ребенок пьет лекарство.

- А вы песни не поете? - ни с того ни с сего спросил Масленников.

- Пела когда-то под гитару.

- А гитара, наверное, дома у кровати висит, с бантом? - не унимался Масленников.

- С бантом, - подтвердила девушка. - Только теперь ее нет... Я ведь здешняя, - добавила она.

Это слово «здесьняя» было понятно всем троем в одном, определенном смысле: раз здешняя, значит, все сгорело и ничего больше нет...

- Ну, не перестали еще бояться? Помните наш разговор?

- А я никогда не перестану, - сказала она. - Я ведь вам сказала, почему я боюсь, так отчего же я могу перестать? Я не перестану... Я думала, что уже вас не встречу, - помолчав, добавила она.

- А я, наоборот, - сказал Сабуров, - был уверен, что вас встречу когда-нибудь.

- Почему?

- Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Вы где жили, далеко отсюда?

- Нет, недалеко. Если по этой улице идти направо, то третий квартал...

- Значит, теперь уже у немцев?

- Да.

- Аня, Аня... - вдруг припоминая, произнес Сабуров. - А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, совсем удивлю. А впрочем, не знаю, может быть, и нет.

Он еще не был уверен, удивит ли ее в самом деле, но ему почему-то показалось, что если случилось одно совпадение и именно эта девушка, которую он вытащил из воды, вывозит теперь от него раненых, то почему бы не случиться и другому совпадению.

- Чем удивите?

- Ваша фамилия Клименко? - спросил Сабуров.

- Да.

- Наверное, удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать.

- Маму? Где?
- На том берегу, в Эльтоне, - сказал Сабуров. - И отец ваш где-то здесь в городе, да?
- Да, - ответила Аня.
- Я видел вашу мать в Эльтоне девять дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали. Только тогда я не знал вашего имени и потому не сказал.
- Что она, что с ней? - торопливо спросила Аня.
- Ничего, она пришла пешком в Эльтон, и я с ней разговаривал. Она сказала, что ее разлучила с вами бомбежка.
- Да, она была дома, а я нет. Как она?
- Хорошо, - солгал Сабуров. - Дошла до Эльтона.
- Где вы ее видели? Как узнать, где она?
- Не знаю. Я ее видел в Эльтоне, просто на улице. По-моему, она в тот день только что пришла туда.
- Ну какая она, какая? - расспрашивала Аня. - Очень замученная?
- Немножко...
- Главное, что живая.
- Вот и она мне о вас что-то вроде этого сказала: «Главное, чтобы живая», - улыбнулся Сабуров.
- Это в самом деле сейчас главное.
- Девушка положила руки на стол и опустила на них голову. Ей хотелось еще и еще расспрашивать Сабурова о матери, но что еще мог добавить он, видевший мать каких-нибудь две минуты.
- Вы ложитесь, - предложил Сабуров. - Ложитесь на мой диван. Я сейчас уйду и до вечера не буду. Я вас разбужу, когда вам надо будет идти.
- Я сама проснусь, - уверенно сказала она, потом, подойдя к дивану, села на него и, по-детски раскачавшись на пружинах, с удивлением заметила: - Ой, мягко, я давно на таком не спала.
- У нас тут еще не то будет, - сказал Масленников. - Я еще два кожаных кресла приглядел среди развалин, немножко починить, и будет, как в салон-вагоне.
- А гитары среди ваших развалин нет?
- Нет.
- Жаль. Я бы вам сыграла.
- Ничего, вы же к нам не последний раз...

- Наверное, не последний...

- Так я еще найду гитару. Разрешите идти в первую роту? - сказал Масленников, старательно, более, чем обычно, вытягиваясь перед Сабуровым.

- Идите, - сказал Сабуров. - Я тоже скоро к вам приду.

Масленников вышел.

- Он кто у вас? - спросила девушка.

- Начальник штаба.

- Он у вас тоже хороший.

- Почему тоже?

- Также, как вы, - сказала она. - То есть не совсем, как вы, он, как я... то есть я не то - не хороший, как я... а я... - Она запуталась, смутилась, потом улыбнулась: - Я хочу сказать, что он, как я, тоже еще молодой совсем, а вы уже взрослый, - вот что я хотела сказать.

- Вы уже меня вовсе в старики записали, - покачал головой Сабуров.

- Нет, почему в старики? - серьезно сказала она. - Я просто вижу, что вы взрослый, а мы еще нет. Вы уже, наверное, много пережили в жизни, ведь верно?

- Не знаю, может быть... Пожалуй, да... - нерешительно согласился Сабуров.

- А я - нет. Мне даже и вспомнить почти нечего. Только иногда Сталинград вспоминаю, какой он был. Вы никогда раньше не бывали в нем?

- Нет.

- Он был очень красивый. Я знаю - наверное, Москва красивее, но мне почему-то всегда казалось, что он самый красивый. Может, оттого, что я тут родилась. Очень жалко, - вдруг с силой сказала она, - очень жалко... Так жалко, вы представить себе не можете. Мама не плакала, когда с вами говорила?

- Нет.

- Она знаете какая... Она, если что-нибудь, пустяк какой-нибудь - тарелку разобьет, - заплачет, а когда что-нибудь в самом деле страшное, она не плачет, молчит, даже ничего не говорит.

- А как ваш отец?

- Не знаю. Он на ту сторону не ушел. Он мне сказал: «Я не уйду из Сталинграда». Он и не ушел, я знаю. Они у меня оба хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что уйду в армию, а у нас только три дня как Миша - старший брат - погиб, я думала, что они спорить будут... А они ничего, сказали: «Иди». И все... Хорошо, все понимают, - добавила она с детской непосредственностью представления о родителях, как о людях, обычно не понимающих самых простых вещей. - Хорошо, что я вас увидела сегодня, а то я ваших раненых вывозила, они в разговоре все говорят: «Сабуров, Сабуров», а я не знала, что Сабуров - это вы, а мне вас хотелось увидеть, поблагодарить. Мы тогда с вами ехали на пароходе, я вам разные вещи говорила, у меня тогда такое настроение было все рассказать, и мне потом казалось, что, если

я вас вдруг еще увижу, мне опять захочется вам рассказать.

- Что?

- Не знаю что... все вообще... Вот не попали бы вы сюда к нам, в Сталинград, мы бы с вами никогда не увиделись.

- Почему? Вы же хотели учиться?

- Да.

- Поехали бы в Москву?

- Да.

- Поступили бы учиться в университет, а я бы там как раз преподавателем был.

- Вы разве до войны преподавали?

- Нет, учился, но должен был преподавать.

- Вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии...

Как всякому человеку, пришедшему из запаса, Сабурову были приятна эта ошибка.

- Почему вы так подумали? - спросил он с интересом.

- Так. Вы такой, как будто всегда в армии были, - такой у вас вид... - И она, прикрыв рот рукой, зевнула.

- Ложитесь, - сказал он, - спите.

Она потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл девушку.

- А вы в чем пойдете? - спросила она.

- Я днем без шинели хожу.

- Неправда.

- Нет, правда, я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.

- Хорошо, - согласилась она. - Сколько вам лет?

- Двадцать девять.

- Правда?

- Я же сказал вам.

- Ну да, конечно, - она с недоверием посмотрела на него, - конечно, правда, но только непохоже.

Она закрыла глаза, потом снова открыла их.

- Я, знаете, так устала, ужасно устала... Я так все ходила, ходила последние два дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть...

- Вот и спите.

- Сейчас... У вас дети есть?

- Нет.

- И жены нет?

- Нет.

- Правда?

Сабуров рассмеялся:

- Мы же договорились.

- Нет, я вам верю, - сказала она. - Это я потому, что когда на фронте с нами, с девушками, болтают, то все как будто сговорились - уверяют, что у них жен нет, и смеются... Вот и вы смеетесь, видите...

- Я смеюсь, но это все-таки правда.

- А чего же вы смеетесь?

- Вы смешно спросили.

- Почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила, - сказала она совсем сонным голосом и закрыла глаза.

Сабуров с минуту постоял, глядя на нее, потом подсел к столу, пошарил по карманам - кисет с табаком куда-то запропастился. Он полез в полевую сумку. Там между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная коробка - та самая, из которой он вынул три папиросы: себе, Гордиенко и покойному Парфенову, когда они собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена «на потом», на после атаки, и с тех пор он забыл о ней. Он посмотрел на коробку и без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу, взял ее и закурил.

За окном светало. Начинался обычный страдный день - один из тех, к каким он уже привык, - но ко всем заботам в этом дне прибавилась еще одна, в которой он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал: это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью. У него было неясное ощущение, что девушка эта неожиданно прочно связана со всеми его будущими мыслями и с тем, что кругом осада и смерть, и с тем, что он сидит в осаде именно в этих домах в Сталинграде, в том самом городе, в котором она родилась и выросла. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, что когда придет вечер и ей нужно будет переправляться на тот берег и уходить отсюда, то ее отсутствие будет до странности трудно себе представить.

Он докурил папиросу и встал.

- Что без шинели? - спросил Петя, когда они вышли.

- Тяжело в ней, да сегодня еще и тепло.
- Что ж, тяжело, так я понесу, пока тепло.
- Ладно, не надо, так пойдем...

VIII

День выпал тяжелый, все время пришлось торчать во второй роте на левом фланге, где мимо дома на площадь выходила широкая улица. С утра, как обычно, точно по расписанию, началась бомбежка, на этот раз более свирепая, чем всегда, и это навело Сабурова на мысль, что сегодня не обойдется без какой-нибудь особенно сильной атаки.

К полудню выяснилось, что он был прав. Три раза отбомбив дома, немцы начали сильный минометный обстрел и под прикрытием его пустили вдоль улицы танки. Перебегая от ворот к воротам, вдоль стен, за ними двинулись автоматчики, довольно много, – наверное, около двух рот. Одну атаку отбили, но через два часа началась вторая. На этот раз два танка прорвались и заскочили во двор дома. Прежде чем их сожгли, они раздавили противотанковую пушку со всем расчетом. Первый танк зажгли сразу, из него никто не выскочил, второй сначала подбили и только потом уже, когда он остановился, зажгли бутылками. Из него выскочили двое немцев, их тут же убили, хотя можно было взять их в плен. Сабуров на этот раз не удерживал своих людей: перед глазами было только что разбитое орудие и раздавленные в лепешку тела артиллеристов.

В четыре часа опять началась бомбежка; она продолжалась до пяти, а в шесть, после долгого минометного обстрела, немцы снова пошли в атаку, на этот раз уже без танков. Им удалось захватить трансформаторную будку и развалины стены.

Уже перед самой темнотой, в полумгле, Сабуров, собрав полтора десятка автоматчиков, решив, что так нельзя оставлять до утра, подполз к будке и после долгой возни и перестрелки снова занял ее. При этом было убито и ранено несколько человек; что до него, то он от усталости и грохота не заметил сначала, что ему у плеча прорвало рукав и обожгло руку пулей. Еще в середине дня его ударило о стену взрывной волной от близко разорвавшейся бомбы, и он наполовину оглох. Поэтому весь остальной день, злой и оглохший и страшно усталый, он делал все, что надо, почти автоматически. Когда будка наконец была занята, он, измученный, сел на землю, прислонился к обломку стены и, отвинтив крышку у фляги, сделал несколько глотков. Ему было холодно, и он впервые за день вспомнил, что вот уже вечер, а он без шинели. Словно угадав его мысли, Петя подал ему чужую шинель, наверное, снятую с убитого. Она оказалась мала. Сабуров сначала накинул ее на плечи, но Петя заставил надеть шинель в рукава.

В штаб Сабуров и Масленников вернулись совсем поздно, когда стемнело. На столе горела лампа. Сабуров мельком кинул взгляд на диван – девушка все еще спала. «Вот, должно быть, устала. А придется будить», – подумал он и вдруг сообразил, что за весь день, с той минуты, когда он подумал, что, наверное, будет сильная атака, и до самого возвращения так ни разу и не вспомнил о девушке.

Они с Масленниковым сели за стол, и Сабуров налил в самодельные стопки водки. Выпили и только тогда хватились, что нечем закусить... Пошарив по столу, Сабуров дотянулся до красивой четырехугольной банки с американскими консервами: на всех четырех сторонах ее были изображены разноцветные блюда, которые можно приготовить из этих консервов. Сбоку была припаяна аккуратная открывалка. Отломив ее и продев ушко в специальный шпенек на

банке, Сабуров начал открывать крышку.

- Разрешите войти?

- Войдите.

В комнату вошел человек невысокого роста, с одной шпалой в петлицах. Он подошел к столу, прихрамывая и слегка опираясь на самодельную палочку.

- Старший политрук Ванин, - сказал он, небрежно козырнув. - Назначен к вам комиссаром.

- Очень рад. - Сабуров встал и пожал ему руку. - Садитесь.

Ванин поздоровался с Масленниковым и сел на скрипнувшую табуретку. Обнаружив привычки штатского человека, он сразу снял и положил на стол фуражку и отпустил на одну дырочку ремень; только после этого так, словно обмундирование и португепя причиняли ему неудобство, он уселся поудобнее.

Сабуров внимательно посмотрел на человека, которому теперь предстояло быть главным помощником во всех делах, и, подвинув к себе лампу, прочел сопроводительный документ. Это была напечатанная на тоненькой бумажке выписка из приказа по дивизии, согласно которому Ванин назначался комиссаром во второй батальон 693-го стрелкового полка.

На официальное ознакомление Ванина с положением дел в батальоне ушло вряд ли больше десяти минут. Все было понятно и без лишних слов; условия осады - снаряды и мины на счету, патроны в меньшей степени, но тоже на счету, горячая пища, по ночам разносимая в термосах, водка, которой оставалось больше нормы, потому что каждый день люди выбывали убитыми и ранеными, а старшины рот не торопились давать об этом сведения, обмундирование, которое за восемь дней ползания и лежания в окопах у многих изодралось в клочья, а у остальных истерлось и перепачкалось, - все это было хорошо известно каждому человеку, хоть несколько месяцев проведенному на фронте.

Сабуров, по своей привычке, откинулся на табуретке к стене и стал свертывать сигарку, давая этим понять, что официальная часть разговора окончена.

- Давно в городе? - спросил он Ванина.

- Только сегодня утром переправился с той стороны. Я ведь прямо из госпиталя. - Ванин в подтверждение своих слов пристукнул палочкой по полу.

- А в Сталинграде раньше бывали?

- Бывал, - усмехнулся Ванин. - Бывал, - повторил он со странным выражением лица и вздохнул. - Мало сказать, бывал. Я до войны здесь секретарем горкома комсомола был.

Сабуров, по своей привычке, откинулся на табуретке к стене и стал свертывать сигарку, давая этим понять, что официальная часть разговора окончена.

- Давно в городе? - спросил он Ванина.

- Только сегодня утром переправился с той стороны. Я ведь прямо из госпиталя. - Ванин в подтверждение своих слов пристукнул палочкой по полу.

- А в Сталинграде раньше бывали?

- Бывал, - усмехнулся Ванин. - Бывал, - повторил он со странным выражением лица и вздохнул. - Мало сказать, бывал. Я до войны здесь секретарем горкома комсомола был.

- Вот как...

- Да... Когда три месяца назад уходил отсюда на Южный фронт, Сталинград считался еще глубоким тылом, трудно было представить себе, что мы вот с вами будем сидеть в этом доме. Тут ведь перед домом был парк, теперь, наверное, мало что от него осталось...

- Мало, - подтвердил Сабуров. - Несколько деревьев да столбы от волейбольных сеток.

- Вот, вот, столбы от волейбольных площадок, - усмехнулся Ванин, - теннисную не успели сделать. Как раз перед войной я собирал молодежь на воскресники, ровняли землю, катками катали, а теперь, наверное, изрыто все...

- Изрыто, - опять подтвердил Сабуров.

Ванин задумался.

- Черт его знает, - сказал он, - всем тут тяжело воевать, потому что уж больно Волга близко. А мне совсем тяжело... Я ведь тут каждый дом знаю, действительно каждый, - а не для красного словца... Двенадцать лет назад мы тут зеленое кольцо решили сделать, чтоб меньше пыли. Да, не думали мы тогда, что эти трехлетние липки через десять лет поломают война и что тогдашние пятнадцатилетние пареньки будут, не дожив до тридцати, помирать на этих улицах. И вообще о многом мы тогда не думали, так же, как, наверное, и вы.

- Наверное.

Ванин несколько раз подряд затыкнулся и посмотрел на Сабурова.

- Представляете, сегодня утром увидел город с того берега... Был город - и нету. Наверное, ваш командир дивизии принял меня за сумасшедшего, я на все его вопросы отвечал как автомат: да, нет, да, нет, да, нет... Вы все-таки, наверное, не можете до конца меня понять. Всю мою грусть.

- Нет, почему же, - сказал Сабуров, - я вас вполне понимаю, но только меня вместе с грустью иногда зло берет...

- На кого?

- На себя, на вас, на других. Черт его знает. Может, поменьше нужно было внимания к вашим зеленым насаждениям и больше внимания ко многому другому. Вот я - я прослужил два года в армии. Когда уходил в запас, сказали: «Напрасно, из вас мог бы получиться хороший военный». Но я ушел... И заметьте, если бы не верил в то, что будет война, может быть, был бы и прав, но я же был уверен, что война будет, - и, значит, был неправ; должен был остаться в армии.

- Понимаю, - сказал Ванин, - хотя нельзя же было всем сразу стать военными, согласитесь и с этим.

- Соглашаюсь, с той поправкой, что мы ими все равно стали, и стали позже, чем это было

нужно... Впрочем, что зря вспоминать, теперь наше дело солдатское – независимо от прежних заблуждений, своих и чужих, отстоять вон эти три дома – и все. – Сабуров постучал пальцем по лежавшему перед ним плану. – Как, не отдадим дома, а, комиссар?

Ванин улыбнулся.

– Надеюсь. Знаете, – доверительно добавил он, – что мне сказал командир полка, когда отправлял к вам?

– Что?

– «Пойдете к Сабурову, он воюет неплохо, но любит порассуждать, и вообще у него бывают настроения...» – «Какие настроения?» – спросил я. «Так, вообще настроения», – сказал он и сделал рукой такой жест, как будто этим все сказано.

Сабуров рассмеялся:

– Спасибо за откровенность. Признаюсь, у меня действительно бывают настроения – то одно настроение, то другое настроение, и вообще, мне кажется, человек без настроений не может быть. А как по-вашему?

– По-моему, тоже.

– А ваша волейбольная площадка, – вдруг переводя разговор, сказал Сабуров, – почти цела. Пять-шесть воронок, но это ведь только подсыпать земли и два-три раза пройтись катком. А столбы стоят, и на одном даже обрывок сетки. Вот лейтенант, – кивнул Сабуров на сидевшего с ним рядом Масленникова, – игрок сборной Москвы по волейболу. Вы меня сегодня надумили насчет него – я все замечаю: просится во вторую роту – любимая его рота. Теперь понимаю, в чем дело, – там волейбольная площадка, наводит его на воспоминания.

– Капитан все не принимает меня всерьез, – с легким оттенком обиды сказал Масленников. – Ему не дают покоя мои двадцать лет... Нет, товарищ капитан, я вспоминаю о волейболе не чаще, чем вы, честное слово.

– И совершенно напрасно. Двадцать лет – хорошая вещь. И потом, знаешь что, Миша, когда тебе будет тридцать, мне будет сорок, а когда тебе будет сорок, мне будет пятьдесят, – так что за мной все равно не угонишься, но чем дальше ты будешь жить, тем тебе будет яснее, что меньше на десять лет – это гораздо лучше, чем больше на десять лет.

Он обнял Масленникова за плечи и притянул к себе.

– Нет, комиссар, у нас с вами замечательный начальник штаба – хороший, обстрелянный, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что бы такое особенное придумать, чтобы стать настоящим героем. Пороховой погреб, фитиль в руках – желательно что-нибудь в этом роде. Шучу, шучу, Миша, не сердись. Лучше встань, заведи нам какую-нибудь пластинку.

– А у вас есть патефон? – спросил Ванин.

– А как же, возим... Думали даже пианино с третьего этажа перетащить, но его вчера оттуда так вышвырнуло, что одни струны валяются.

За стеной раздался подряд два близких и сильных взрыва.

- Хотя, может, и нет смысла ничего сюда перетаскивать, - после паузы сказал Сабуров. - Кажется, скоро придется менять квартиру. Сегодня весь день кладут вокруг да около.

Ванин вместе с Масленниковым подошли к батарее отопления, где стоял патефон. Перебирая пластинки, он остановился на одной из них и попросил:

- Вот эту.

Масленников завел патефон.

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...

Ванин отодвинулся от стола в тень и слушал молча, подперев голову руками. Когда пластинка кончилась, Ванин, не стыдясь, вытер глаза.

- Заведи еще раз, - сказал он.

И пластинка закрутилась во второй раз.

- А крепко спит девушка, - сказал Сабуров, когда патефон кончил играть. - Даже «любимый город» не разбудил... Как ни жаль, а надо поднимать.

Он пересек комнату и подошел к дивану. Когда он пришел, ему в полутьме показалось, что там лежит Аня, но это была всего-навсего его собственная брошенная на диван шинель.

- Вот как... - удивился он. - Петя, где медсестра?

И Петя, который вернулся сюда вместе с Сабуровым, но, как водится у ординарцев, безусловно, уже все знал, сказал, что девушка давно ушла.

- Куда ушла? На тот берег?

- Нет, товарищ капитан, она тут... Тут такое дело вышло. Впереди, где садик, на ничьей земле стоны слышать было - вроде на помощь звали. Пришли сказать дежурному, а она как раз в это время поднялась. Ну они и пошли туда, то есть поползли.

- Кто пошел?

- Она пошла...

- Она! Хоть бы рассказывать постыдился. Батальон солдат, а стоны слышались, так медсестра туда поползла... Да еще чужая... Что это за гастроли?

- Так нет, она не одна, тут ихний санитар с ней пополз да наш Конюков. Он тут дежурил и тоже вызвался.

- Когда это было?

- Теперь уже, значит, два часа, - ответил Петя, посмотрев на часы.

- Дежурного ко мне вызови, - распорядился Сабуров, натягивая шинель.. - Посидите тут, я сейчас, - кивнул он Ванину и Масленникову.

Ночь была холодная, полнеба закрывали тучи, но луна стояла как раз на ясной половине, и было светло.

Сабуров поежился от ночной прохлады. К нему подбежал дежурный.

- Куда они поползли?

- Да так, промежду заборами, влево и по развалинам, - показал дежурный рукой.

- Что было слышно за это время?

- Ничего особенного не слышать было, товарищ капитан. Минут тридцать как по этому месту мины пустили, а так ничего...

Сабурову захотелось самому поползти вперед и узнать, что там происходит, но он превозмог себя. Это был не тот случай, когда он имел право рисковать жизнью.

- Как только будет что-нибудь известно, сейчас же доложите, я буду ждать, - сказал он дежурному.

Но ждать не пришлось. Из темноты показались три фигуры. Двое поддерживали третьего. Сабуров пошел навстречу. Сделав несколько шагов, он столкнулся с ними лицом к лицу. Конюков и санитар тащили под руки Аню. В темноте Сабуров не мог разглядеть ее лица, но по тому, как она беспомощно повисла на руках у Конюкова и санитаря, Сабуров понял, что с ней плохо.

- Разрешите доложить, - обратился Конюков, продолжая поддерживать Аню левой рукой и отковыряв правой.

- Потом, - сказал Сабуров. - Ведите ко мне. Или нет, не надо, тут положите, в дежурке.

Дежуркой все называли маленький закуток, образованный с трех сторон лестницей и стеной, с четвертой дежурка была завешена плащ-палаткой. В этом углублении стояли стол, табуретка для телефониста и мягкое кресло, вытащенное из чьей-то квартиры для дежурного. В углу, прямо на земле, лежал тюфяк. На него санитар и Конюков опустили Аню. Конюков быстро скатал лежавшую рядом шинель и положил ей под голову.

- Уложили? - не входя в дежурку, спросил Сабуров.

- Так точно, - ответил Конюков, выходя. - Разрешите доложить.

- Докладывай.

- Были стоны слышны. Так вот они, - кивнул Конюков, - говорят: «Я туда поползу, там раненые». И своих санитаров вызывают. Ну, один санитар у них маленькодохлый, молодой еще. «Пойду», говорит, но вижу, в душе стесняется... Так я говорю им, что я пойду.

- Ну?

- Разрешите доложить. Пошли, все ползком, тихо. Проползли так аккуратно метров

полтора, за развалинами там нашли.

- Кого?

- Вот разрешите представить...

Конюков полез в карман гимнастерки и вытащил оттуда пачку документов. Сабуров на секунду зажег фонарик. Это были документы сержанта Панасюка, не вернувшегося из разведки еще прошлой ночью. В батальоне его уже считали убитым. Очевидно, раненый прошлой ночью, он день перележал где-то между развалинами и в темноте пытался добраться к своим.

- Где же вы его нашли? Ближе к немцам или ближе к нам?

- Разрешите доложить. Аккурат посередине. Он, видно, полз, бедный, а не сдержался, стал голос подавать.

- Где он?

- Мертвый он. Когда подползли, он еще живой был, раненый, стонал во весь голос. Я ему говорю: «Ты молчи, а то на твой голос стрелять будут». Потасили его, а тут немец и правда, видать, между камней нас пулей настичь не гадал, так стал мины бросать. Его там, значит, совсем, а ее в ногу задело и об камни ударило. Сначала она в горячке даже его тащить хотела, хоть он и мертвый, но потом сознание утеряла. Мы документы взяли, его оставили, а ее подхватили, вот и представили сюда. Разрешите доложить, товарищ капитан?

- Ну что еще?

- Сестрицу жаль. Что ж, ей-богу, неужто мужиков на это дело нет? Ну, пушай там в тылу в госпитале за ранеными ходит, а для чего ж сюда? Я ж как ее потасил - легонькая совсем, и мне тут стала такая мысль: зачем легонькую, такую молодую девчонку под пули пускают?

Сабуров ничего не ответил. Конюков тоже замолчал.

- Разрешите идти? - спросил он.

- Идите.

Сабуров вошел в дежурку. Аня лежала на матрасе молча, открыв глаза.

- Ну, что с вами? - спросил Сабуров. Ему хотелось упрекнуть ее за то, что она пошла так безрассудно, никого не спросив, но он понимал, что упрекать ее за это нельзя. - Ну, что с вами? - повторил он уже мягче.

- Ранили, - ответила она, - а потом ударились сильно головой... А ранили - это так, пустяки, по-моему...

- Перевязали хоть вас? - спросил Сабуров и только сейчас заметил, что под надвинутой на голову пилоткой у нее белел бинт.

- Да, перевязали, - сказала она.

- А ногу?

- Ногу тоже перевязали, - ответил стоявший над ней санитар. - Пить не хотите, сестрица?

- Нет, не хочу...

Сабуров колебался: с одной стороны, может, лучше не трогать ее и оставить здесь на два-три дня, пока ей не станет легче; с другой стороны, по дивизии уже несколько дней как было приказано раненых не оставлять до утра в этом месиве, где легкораненые к вечеру могли превратиться в тяжелораненых, а тяжелораненые – в убитых. Нет, с девушкой надо было сделать так же, как со всеми остальными: отправить ее сегодня же ночью на ту сторону.

- Идти не можете? – спросил Сабуров.

- Сейчас, пожалуй, не могу.

- Придется вместе с остальными ранеными вас перенести к берегу, и сейчас же, в первую очередь, – сказал Сабуров, предвидя возражения.

Он ждал, что она скажет, что она не самая тяжело раненная и ее можно перенести в самую последнюю очередь. Но она по лицу Сабурова поняла, что он все равно отправит ее в первую очередь, и промолчала.

- Если бы меня не ранили, – проговорила она вдруг, – мы бы его все равно оттуда притащили. Но, когда меня ранили, они не могли двух... Он ведь убит, – пояснила она, словно оправдываясь.

Сабуров посмотрел на нее и понял, что все это она говорит, только чтобы превозмочь себя, а на самом деле ей просто-напросто очень больно и очень обидно оттого, что она вот так ненужно и глупо ранена. И Сабурову показалось, что ей грустно еще и оттого, что он так сурово разговаривает с ней. Ей больно и жалко себя, а он этого не понимает.

- Ничего, – произнес он с неожиданной лаской в голосе. – Ничего. – И, пододвинув кресло, сел около нее. – Сейчас вас переправят на тот берег, быстро поправитесь и опять будете раненых возить.

Она улыбнулась:

- Вы сейчас говорите так, как мы всегда раненым говорим: «Ничего, миленький, скоро заживет, скоро поправитесь».

- Ну что же, вы ведь ранены, вот и говорю с вами, как это принято.

- А вы знаете, – продолжала она, – я только что подумала, как, наверное, раненым страшно переплывать через Волгу, когда стреляют. Мы, здоровые, можем двигаться, все делать, а они лежат и просто ждут. Вот сейчас со мной тоже так, и я подумала, как им, наверное, страшно...

- А вам тоже страшно?

- Нет, мне сейчас почему-то совсем не страшно... Дайте закурить.

- Вы курите?

- Нет, не курю, но мне сейчас вдруг захотелось...

- Только у меня папирос нет, вертеть придется.

- Ну что ж.

Он свернул самокрутку и, прежде чем заклеить, на секунду остановился.

- Сами... - сказала она.

Он лизнул бумагу и заклеил самокрутку. Аня неумело стиснула ее зубами. Когда он чиркнул спичку, лицо девушки впервые показалось ему красивым.

- Что вы смотрите? - спросила она. - Я не плачу... Мы через лужи переползали, и от этого лицо мокрое. Дайте платок, я вытру.

Сабуров достал из кармана платок и смущенно заметил, что он грязный и скомканный. Она вытерла лицо и вернула ему платок.

- Что, меня сейчас заберут? - спросила она.

- Да, - он постарался сказать это «да» тем же сухим, начальническим тоном, которым говорил вначале, но сейчас это у него не вышло.

- Вы меня будете вспоминать? - вдруг спросила она.

- Буду.

- Вспоминайте. Я не потому, что так все раненные говорят, а правда, скоро вылечусь, я чувствую... Вы вспоминайте.

- Как же вас не вспоминать... - серьезно сказал Сабуров, - - Непременно буду вспоминать...

Когда через несколько минут санитары подошли, чтобы положить ее на носилки, она поднялась и села сама, но было видно, что ей это трудно.

- Очень болит голова, - слабо улыбнулась она.

Ее поддержали под руки и положили на носилки.

- Остальных уже отправляют? - спросил Сабуров.

- Да, сейчас же, вместе идем, - ответил один из санитаров.

- Хорошо.

Санитары приподняли носилки, и теперь на улице, в полутьме, Сабуров понял, что он не сказал еще ничего из того, что ему в эту минуту захотелось ей сказать... Санитары уже сделали первый шаг, и носилки заколыхались, а все еще не было ничего сказано, и, пожалуй, он ничего и не мог сказать - не умел и не смел. Острая, безрассудная жалость к ней, столько носившей и перевязывавшей раненых и вот сейчас беспомощно лежавшей на таких же носилках, переполняла его сердце. Он неожиданно для себя наклонился над ней и, спрятав руки за спиной, чтобы каким-нибудь неосторожным движением не сделать ей больно, сначала крепко щекой прижался к ее лицу, а потом, сам не понимая, что делает, поцеловал ее несколько раз в глаза и в губы. Когда он поднял лицо, то увидел, что она смотрит на него, и ему показалось, что он не просто поцеловал ее, беспомощную и неспособную пошевелиться или возразить, а что он сделал это с ее разрешения, что она так и хотела...

Вернувшись в штаб, Сабуров сел за стол и, достав из планшета, положил перед собой полевую книжку: ему предстояло написать донесение за день, - донесение, которое пойдет в полк к

Бабченко, выборка из которого потом пойдет в дивизию Проценко, из дивизии в армию, из армии во фронт, а оттуда в Москву... И так составитя вся длинная цепь донесений, которая под утро в виде сводки Генерального штаба окажется на столе у Сталина.

Он подумал об этом и об огромности фронта, где его батальон и эти три дома были лишь одной из бесчисленного множества точек. И ему показалось – вся Россия, которой нет ни конца ни края, стоит бесконечно влево и бесконечно вправо, рядом с этими тремя домами, где держится он, капитан Сабуров, со своим поредевшим батальоном.

IX

На участке, который занимала дивизия Проценко, наступило относительное затишье. После всего, что было, это могло бы показаться законным отдыхом, если бы Сабуров не знал, что тишина объяснялась не тем, что немцы вообще устали и прекратили атаки, а единственно тем, что они сейчас стянули все свои силы южнее того участка, где стояла дивизия, и проламывали там себе проход к Волге, стараясь разрезать Сталинград пополам.

Днем и ночью слева, с юга, доносилась артиллерийская канонада, а здесь было тихо, то есть тихо в сталинградском понимании этого слова. От времени до времени немцы бомбили. Пять или шесть раз в день они делали артиллерийские и минометные налеты на дома, занимаемые Сабуровым, то там, то здесь кучки автоматчиков пытались продвинуться вперед и занять часть развалин, но все это было скорее демонстрацией, чем боем.

Немцы делали ровно столько, сколько нужно для того, чтобы нельзя было снять отсюда ни одного человека на помощь частям, оборонявшимся южнее. И порожденное бездействием тягостное чувство, пожалуй, говорило в Сабурове сильнее, чем простая человеческая радость по поводу того, что он жив и что у него сейчас относительно меньше шансов умереть, чем раньше.

Немцы делали ровно столько, сколько нужно для того, чтобы нельзя было снять отсюда ни одного человека на помощь частям, оборонявшимся южнее. И порожденное бездействием тягостное чувство, пожалуй, говорило в Сабурове сильнее, чем простая человеческая радость по поводу того, что он жив и что у него сейчас относительно меньше шансов умереть, чем раньше.

За эти дни в батальоне установился тот особый осадный быт, который поражал попадавших в Сталинград людей своими устойчивыми традициями, своим спокойствием, а иногда и юмором. Сабуров, у которого в конце концов после трехдневного обстрела разбили прежнее помещение штаба, к счастью, только легко ранив при этом одного телефониста, теперь помещался в подвале в бывшей котельной. Таким образом, теперь в батальоне все без исключения вели подземную и от этого более прочную и упорядоченную жизнь.

У землянки, где помещались связные, один из которых заведовал почтой, на столбе повесили самый настоящий почтовый ящик. На нем было все, как полагалось: и надпись «Почтовый ящик», и почтовый знак, и открывающаяся и захлопывающаяся крышка. Сабуров как-то утром сказал, что тут не хватает только вывески «Главный почтамт»; это, видимо, понравилось связистам, и к вечеру над ящиком появилась дощечка: «Главный почтамт. Прием и выдача корреспонденции».

Один из бойцов комендантского взвода, в прошлом часовщик, в своей землянке, за врытым

вместо окна прямо в землю куском зеркальной витрины, устроил подобие часовой мастерской. После шутки комбата с почтамтом здесь тоже появилась надпись: «Мастерская «Точное время».

Петя два дня был озабочен устройством хоть какой-нибудь бани. С помощью саперов он вырыл землянку. Из нескольких выломанных дверей в ней соорудили полóк, сложили из кирпичей каменку и врыли в землю бочку с водой; в бане было дымно и тесно, но вряд ли где мылись с таким удовольствием, как здесь. Даже Бабченко, у которого не было своей бани, пришел помыться и, уходя, сказал, что еще притащит сюда командира дивизии, не преминув добавить, чтобы к приходу начальства все было в порядке.

Тетя Маша – так звали женщину, которую Сабуров в первые дни нашел в подполе возле своего дома, – определилась на батальонную кухню. Она свыклась с мыслью, что батальон всегда будет здесь и уже никто ее отсюда не выгонит.

Теперь главные боевые действия происходили ночью. Группы охотников ползли на немецкую сторону, пытаясь добыть «языка» или просто устроить немцам очередной тарарам. Две ночи подряд в этих экспедициях участвовал Масленников. Ему не терпелось отличиться, и он доказывал, что просто обязан заниматься этими вылазками лично сам – ведь надо же что-то делать, когда в трех километрах южнее сейчас умирают товарищи. Сабуров знал это не хуже его, но предвидел, что скоро то же самое достанется и на их долю, и удерживал Масленникова. Когда Масленников пошел в ночной поиск во второй раз, Сабуров, не считая себя вправе отказать ему, потихоньку вызвал к себе Конюкова и поручил ему не отходить ни на шаг от Масленникова и по возможности беречь его. Конюков охотно вызвался идти, а относительно Масленникова сказал только:

- Уж будьте благонадежны, товарищ капитан.

Ему нравилась ночная работа, и он, разговаривая с товарищами, с некоторым даже сожалением отзывался о том, что немцы почти не ставят теперь колючей проволоки. Он, по его словам, был специалистом резать ее ножницами, и невозможность показать себя с этой стороны огорчала его.

Днем, после того как Масленников, вернувшись из второй вылазки, спал, Сабуров приподнял с него шинель и заметил, что она в нескольких местах посечена мелкими осколками. В эту ночь граната разорвалась рядом с Масленниковым, и он только чудом спасся. Когда Масленников вечером собрался проситься в очередную вылазку, Сабуров, угадав по выражению его лица, о чем он будет просить, сказал:

- Сегодня у вас будет работа, лейтенант, на всю ночь...

- Да? – обрадовался Масленников.

- Да, будете шинель штопать.

Масленников, который обычно понимал юмор, сразу лишился этого чувства, как только ему начинало казаться, что его попрекают молодостью. Может быть, он относился бы к этому спокойнее, если бы не его старший брат, летчик, носивший другую фамилию, чем Масленников, и настолько знаменитую, что Масленников не любил говорить, что у него есть брат. Во всем батальоне он сказал об этом лишь Сабурову.

Масленников вырос в семье, преклонявшейся перед братом, и тоже любил его, но вместе с тем ревновал и завидовал. Подчас ему казалось, что все несчастье его заключается лишь в том, что

он на восемь лет моложе брата. Когда началась испанская война и брат уехал туда, Масленникову было пятнадцать. Он тоже отдал бы все на свете, чтобы попасть в Испанию. Потом, когда брат был в Монголии, а Масленникову пришло время определить свою жизненную дорогу, мать, гордившаяся старшим сыном, но трепетавшая за него, умолила младшего вместо летной школы пойти в авиационный институт. И лишь в начале войны, когда уже ничто не могло удержать его, Масленников бросил институт и пошел в первое попавшееся пехотное училище. Он был честолюбив и тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне. Он непременно хотел стать героем и для этого был готов сделать любое, самое страшное, что бы ему ни предложили.

Сабурову тоже не были чужды в жизни честолюбивые и даже тщеславные мысли, но сейчас, на этой войне, которую он ощущал как всеобщую кровавую страду, эти мысли у него почти исчезли. Впрочем, при всем этом он понимал и не осуждал Масленникова и только старался по мере возможности охлаждать его пыл. Минутами Масленников казался ему почти сыном, который был моложе его на девять лет и на год войны – значит, еще на десять.

- Ты знаешь, Миша, – сказал он, когда после его слов насчет шинели Масленников помрачнел, – когда мне вдруг взбредет сделать что-либо слишком рискованное, я удерживаю себя тем, что думаю о войне. Она ведь будет еще очень длинная, и чем дальше она будет тянуться, тем больше будут цениться люди, которые ее начали с начала и дожили до конца: ведь если Сабуров когда-нибудь, будет командовать полком, то ты будешь командовать батальоном, и очень важно, чтобы ты дожил до этого времени. Как, согласен или нет?

- Нет, – порывисто ответил Масленников, – для всех – да, а для себя – нет.

- Не согласен? – улыбнулся Сабуров. – Ладно. В конце концов, неважно – согласен ты или нет, все равно будет по-моему, штопай...

Масленников взял на колени шинель и покорно стал рассматривать пробитые в ней дырки.

Этот разговор происходил на восьмой день затишья. Весь день и весь вечер была слышна особенно сильная канонада с юга, и Сабуров, не потерявший из-за временного благополучия своего батальона чувства общей надвигающейся беды, был весь вечер в дурном настроении.

На столе затрещал телефон. Сабуров поднял трубку.

- Сабуров? – услышал он голос Бабченко.

- Так точно.

- Оставь батальон на комиссара. Тебя хозяин вызывает, иди сейчас же.

- Скажи Ванину, – обратился Сабуров к Масленникову, – что я к хозяину пошел, – и, нахлобучив фуражку, двинулся к дверям.

Проценко быстрыми шагами ходил по своему выкопанному рядом с развалинами дома блиндажу. Блиндаж, как всегда, когда у полковника находилось хоть немного времени, был сделан прочно и аккуратно. Не боясь рисковать жизнью, когда это было необходимо, Проценко в то же время любил, чтобы штабные блиндажи были надежными, накатов в пять-шесть, и вгонял в пот саперов, как только обосновывался на новом месте. Это была привычка обстоятельного человека, который воюет уже не первый год и для которого блиндаж давно превратился в постоянное местожительство. Он терпеть не мог, когда его командиры без необходимости торчали на тычке, под огнем, не имея возможности разложить карту, словом,

когда они создавали себе лишние неудобства, кроме тех, которые и так на каждом шагу создавала для них сама война.

Весь день сегодня за левым флангом дивизии шел жестокий бой, и Проценко становилось все яснее, что недалек час, когда немцы все-таки прорвутся левее его к Волге и он со своей дивизией окажется оторванным от всего, что южнее, и прежде всего от штаба армии. Полчаса назад его опасения оправдались – связь с армией была прервана. По странной случайности судьбы последнее, что он услышал, был глуховатый басок члена Военного совета Матвеева, который, позвав его к телефону и спросив сначала, все ли у него в порядке, сказал:

- Поздравляю, тебе присвоено звание генерал-майора.

Матвеев говорил усталым, медленным голосом; наверное, там, южнее, у них сейчас было очень тяжело, и только обычным вниманием Матвеева к людям Проценко мог объяснить то, что он вспомнил сейчас об Указе и позвонил ему.

- Благодарю, – сказал Проценко, – постараюсь оправдать свое новое звание.

Он подождал, Матвеев ничего не отвечал в телефон.

- У меня все, – заключил Проценко. – Слушаю вас... – Но Матвеев опять ничего не ответил. – Слушаю вас, – повторил Проценко во второй раз. – Слушаю вас, – сказал он в третий раз.

Матвеев говорил усталым, медленным голосом; наверное, там, южнее, у них сейчас было очень тяжело, и только обычным вниманием Матвеева к людям Проценко мог объяснить то, что он вспомнил сейчас об Указе и позвонил ему.

- Благодарю, – сказал Проценко, – постараюсь оправдать свое новое звание.

Он подождал, Матвеев ничего не отвечал в телефон.

- У меня все, – заключил Проценко. – Слушаю вас... – Но Матвеев опять ничего не ответил. – Слушаю вас, – повторил Проценко во второй раз. – Слушаю вас, – сказал он в третий раз.

Телефон молчал.

Думая, что это обрыв линии где-нибудь на его участке, Проценко вызвал промежуточного телефониста, сидевшего на стыке с соседней дивизией. Телефонист ответил... и лучше бы не отвечал. Провод оборвался надолго. Левее дивизии Проценко немцы вышли на берег Волги, перерезав все линии связи.

Соседи не подавали никаких признаков жизни. Штаб армии безмолвствовал. Между тем, как всегда, необходимо было отправить в армию дневную сводку. Теперь оставался только один путь связи – через Волгу на тот берег и потом с того берега южной переправой в штаб армии. Приходилось посылать человека. Сначала Проценко подумал о своем адъютанте, но тот, свалившись с ног за день беготни, спал на полу, положив под голову шинель. Да и, кроме того, его адъютант был не тем человеком, которого следовало сейчас посылать в штаб армии.

Туда надо было послать кого-нибудь, кто сумел бы не только доставить донесение, но и узнать точно и определенно, что требуется сейчас от него, от Проценко. Он поднял трубку и позвонил Бабченко.

- У вас все тихо? - спросил он.

- Все тихо.

- Тогда пошлите ко мне Сабурова.

Ожидая прибытия Сабурова, Проценко придвинул к себе сводки из полков, против обыкновения собственноручно составил донесение и приказал отпечатать его на машинке. Донесение еще печаталось, когда Сабуров вошел к Проценко.

- Здравствуй, Алексей Иванович, - сказал Проценко.

- Здравствуйте, товарищ полковник.

- Теперь не полковник, - поправил Проценко, - теперь генерал. В генералы меня сегодня произвели. Черт его знает, - добавил он, показав на молчавший телефон, - не буду врать - ждал этого, но не в такой день хотел услышать, не в такой... Я позвал тебя, чтобы ты отвез донесение в штаб армии.

- А что, не работает? - кивнул Сабуров на телефон.

- С армией не работает и едва ли скоро будет работать. Отрезали.

Проценко снял трубку и позвонил на причал.

- Моторку или лодку, что есть под рукой, приготовьте. Значит, так, Алексей Иванович, сначала на тот берег, узнаешь, на прежнем ли месте штаб армии, и опять переберешься на этот, туда, где теперь стоят. Ну, как, донесение готово? - обернувшись, спросил он вошедшего штабного командира.

- Печатают, через пять минут будет.

- Хорошо. Конечно, связь не так, так эдак восстановится, но, по совести говоря, ждать терпения нет. Честное слово, больше люблю, когда на меня жмут. Тут уж знаешь, что у тебя есть, чего нет, а когда у меня тихо, а соседей давят - хуже всего, душа не на месте. Так что - постарайся добраться!

Проценко встал и подошел к осколку зеркала, висевшему на стене.

- Как, Алексей Иванович, пойдет мне генеральская форма?

- Пойдет, товарищ генерал, - сказал Сабуров.

- Товарищ генерал, - улыбнулся Проценко. - Говоришь, а про себя небось думаешь: приятно старому черту это слышать. Думаешь?

- Думаю, - улыбнулся, в свою очередь, Сабуров.

- И правильно думаешь... В самом деле приятно. Только ответственность большая. Звание ввели, а слово это не всегда еще у нас понимают, как и многие другие слова.

Проценко задумался, закурил и внимательно посмотрел на Сабурова. Он был взволнован, и ему хотелось высказаться.

- Генерал - звание трудное. А знаешь, Сабуров, почему трудное? Потому что недурно или даже хорошо воевать - сейчас мало, сейчас надо так воевать, чтобы потом как можно дольше воевать не пришлось. Я ведь, Сабуров, не верю в разговоры, что это последняя война на свете. Это и в прошлую войну говорили, и до этого много раз говорили, стоит историю почитать. После этой войны будет еще война, через тридцать или через пятьдесят лет... Но в наших руках, чтобы она была не скоро, а коли все-таки будет, была бы победной, для того и армия. Конечно, сейчас многие найдутся, кто захочет мне возразить. Ты, например, а?

- Хотелось бы возразить, - признался Сабуров. - Не хочется думать, что когда-нибудь будет еще одна война.

- Это верно, что не хочется, - сказал Проценко, - мне тоже не хочется, Не хочется думать, но надо, необходимо думать, тогда, может быть, и не будет.

Штабной командир принес донесение. Проценко полез в карман, достал очечник, вынул круглые в роговой оправе очки, которые он надевал только тогда, когда приходилось читать какой-нибудь документ, внимательно прочел от слова до слова и подписал.

- Поезжай, - сказал он. - До лодки тебя здесь проводят, а там уже твое дело. Будешь плыть по Волге, если не заметят, красотой будешь наслаждаться... Внизу вода, вверху звезды. Просто даже завидно. Особенно если бы это не Волга была, а Висла или Одер...

Сабуров в темноте добрался до пристани. Моторки не было, ее сегодня утром разбило миной. У пристани тихо шлепала двухпарная весельная шлюпка. Влезая в нее, Сабуров на секунду осветил фонарем: она была белая, с синей каймой и с номером - одна из шлюпок прогулочной станции. Еще недавно ее давали напрокат за рубль или полтора в час...

Двое красноармейцев сели на весла, Сабуров устроился на руле, и они тихо отчалили. Немцы не стреляли. Было все, как предсказал Проценко: звезды наверху и вода внизу, и тихая ночь, орудейный гул перекачивался вдаль, в трех-четыре километрах отсюда, и привычное ухо его не замечало... Действительно, можно было сидеть на корме и думать все эти двадцать или тридцать минут, которые отделяли его от того берега, где теперь днем, а иногда и ночью рвались перелетавшие через реку немецкие снаряды и тяжелые мины, где работали с заката до рассвета десятки пристаней, куда уплывали из батальона раненые и откуда ежедневно привозили в батальоны боеприпасы, хлеб и водку. На том берегу было все, в том числе и Аня, о которой он сейчас вспомнил. И если у нее легкая рана, то она даже совсем близко отсюда, у себя в медсанбате.

«Наверно, легкая», - подумал он не потому, что это так и должно было быть, а потому, что она сказала: «Я скоро у вас буду...», и, как все, что говорила, сказала так по-детски уверенно, что ему казалось - это в самом деле так и должно случиться. Он за последние несколько дней два или три раза ловил себя на том, что, возвратясь в штаб батальона, невольно оглядывал блиндаж.

Лодка уткнулась в песок, и Сабуров, выскочив на берег, пошел узнавать, где теперь та переправа, которая раньше была ближе других к штабу армии. Как оказалось, переправу перенесли километра на полтора ниже по течению. Он снова сел в лодку, и они поплыли вдоль берега.

Лодка причалила к временным деревянным мосткам, красноармейцы остались, а Сабуров пересел на баржу, которая должна была отчаливать обратно на правый берег.

Баржа была загромождена ящиками с продовольствием, коровьими и бараньими тушами,

сваленными прямо на деревянный настил. Количество провианта говорило о том, как много людей по-прежнему находится там, на том берегу, в развалинах Сталинграда.

Через полчаса баржа медленно причалила к одной из сталинградских пристаней. Переправа была перенесена, но, против ожидания, Сабурову сказали, что штаб армии на прежнем месте.

Сабуров знал от Проценко, который два или три раза был в штабе, что он помещается в специально вырытых штольнях, напротив сгоревшего элеватора.

Туда пришлось идти от переправы полтора с лишним километра вдоль берега. Немцы вслепую обстреливали берег из минометов, и мины время от времени рвались то спереди, то сзади.

Сабуров все шел по берегу, а элеватора, который должен был служить ориентиром, все еще не было видно. Между тем теперь автоматная стрельба слышалась так близко, что не было никакого сомнения: до передовой осталось меньше километра. Он уже начал думать, не наврали ли ему, как это бывает, и не переехал ли штаб в другое место. Но когда он подошел совсем близко к тому, что, по его расчетам, было передовой, он увидел прямо перед собой на обрывистом берегу Волги контуры элеватора и наткнулся на часового, стоявшего у входа в подземелье.

- Здесь штаб? - спросил Сабуров.

Человек осветил фонарем документы и ответил, что здесь.

- Как к начальнику штаба пройти? - спросил Сабуров тихо.

- К начальнику штаба?

За его спиной послышался показавшийся ему знакомым голос:

- Кто тут к начальнику штаба?

- Я.

- Откуда?

- От Проценко.

- Вот как. Интересно, - сказал голос. - Ну идемте.

Когда они вошли в обшитую досками штольню, Сабуров оглянулся и увидел, что сзади него идет тот самый генерал, которого он видел в первую ночь у Проценко.

- Товарищ командующий, - обратился к нему Сабуров, - разрешите к вам.

- Да, - ответил генерал и, открыв маленькую дощатую дверку, прошел первым.

Сабуров, поняв это как приглашение следовать за ним, тоже вошел.

За дверью была маленькая каморка с топчаном, клеенчатым диваном и большим столом.

Генерал сел за стол.

- Подвиньте мне табуретку.

Сабуров, не понимая зачем, подвинул табуретку. Генерал поднял ногу и вытянул ее на табуретке.

- Старая рана открылась, хромоть стал... Докладывайте.

Сабуров доложил по всей форме и протянул генералу донесение Проценко. Генерал медленно прочитал его, потом вопросительно посмотрел на Сабурова:

- Значит, у вас по-прежнему тихо?

- Так точно, тихо.

- Это хорошо. Стало быть, у них уже нет сил одновременно атаковать на всех участках, даже в удачные для них дни. Потерь мало последнее время?

- Точно не знаю, - сказал Сабуров.

- Я вас не про дивизию спрашиваю, про дивизию тут написано. Как у вас в батальоне?

- За эти восемь дней шесть убитых и двадцать раненых, а за первые восемь дней - восемьдесят убитых и двести два раненых...

- Да, - протянул генерал, - много... Долго блуждали, пока нас нашли?

- Нет, я быстро нашел, только я уже начал сомневаться: в трехстах шагах стрельба, думал, вы переменили командный пункт.

- Да, - заметил генерал, - чуть не переменили, мои штабники уже решили сегодня ночью менять, но я вечером вернулся из дивизий и запретил им. Когда тяжело так, как сейчас, запомните это, капитан, - а сейчас, смешно скрывать, очень тяжело, - нельзя следовать правилам обычного благоразумия и менять свои командные пункты, даже когда это кажется очевидной необходимостью. Самое главное и самое благоразумное в такую минуту, чтобы войска чувствовали твердость, понимаете? А твердость у людей рождается от чувства неизменности, в частности, от чувства неизменности места. И до тех пор, пока я смогу управлять отсюда, не меняя места, я буду управлять отсюда. Говорю для того, чтобы вы применили это к себе в своем батальоне. Надеюсь, не думаете, что затишье у вас будет долго продолжаться?

- Не думаю, - ответил Сабуров.

- И не думайте, оно ненадолго. Саватеев! - крикнул генерал.

В дверях появился адъютант.

- Садитесь, пишите приказание.

Генерал быстро при Сабурове продиктовал несколько строк короткого приказания, сущность которого сводилась к тому, чтобы Проценко не дал немцам оттянуть людей с его участка и провел для этого несколько частных атак на своем южном фланге, там, где немцы прорвались к Волге.

- Припишите, - добавил генерал, - поздравляю с присвоением генеральского звания. Все.

Дайте подписать.

Отпуская Сабурова, генерал поднял на него свои усталые, окруженные синевой бессонницы глаза.

- Давно знаете Проценко?

- Почти с начала войны.

- Если хотите быть хорошим командиром, учитесь у него, приглядывайтесь. Он на самом деле не так прост, как кажется с первого взгляда: хитер, умен и упрям. Словом, хохол. У нас многие только делают вид, что они спокойные люди, а он из тех, кто в самом деле спокоен, вот этому у него и учитесь. Он мне о вас доносил, что вы хорошо действовали в первые дни, когда попали в окружение. Теперь вы всей дивизией можете считать себя в окружении. А в этих обстоятельствах главное – спокойствие. Мы с вами восстановим связь, но вода – все-таки вода, так что помните это. Впрочем... – генерал усмехнулся, – вода на нас иногда хорошо действует, когда она сзади нас. Примеры тому – Одесса, Севастополь... Надеюсь, и Сталинград, с той разницей, что его мы не сдадим ни при каких обстоятельствах. Можете идти.

Когда Сабуров, выйдя из штаба, пошел обратно к пристани вдоль берега, он подумал, что, как это ни странно, у командующего было хорошее настроение. «Может быть, он знает что-то такое, чего мы не знаем, – подумал Сабуров, – может быть, ждет подкрепления, может быть, в другом месте что-то готовится!..»

И сейчас же отбросил эту мысль... Нет, не в этом дело. Ему показалось, что он понял настроение командующего: просто самое худшее, что могло случиться, уже случилось – немцы прорвались к Волге и разрезали армию, – к этому шло все последние дни и этому не хватило сил противостоять. Но сейчас, когда это самое страшное случилось, когда случилось то, что немцы раньше считали окончанием битвы, – армия не признала себя побежденной и продолжала драться, и штаб остался как ни в чем не бывало там, где стоял, и вдобавок ко всему из отрезанной дивизии прибыл командир, который, несмотря ни на что, привез командующему донесение именно в то время, в какое оно обычно прибывало. И не поэтому ли он, человек, известный в армии своей молчаливостью, сейчас целых десять минут проговорил с простым офицером связи и сказал даже несколько фраз, не имеющих, казалось бы, прямого отношения к делу.

Через пять часов после того, как Сабуров ушел от Проценко, он снова стоял в его блиндаже.

- Ну как там? – спросил Проценко, прочитав приказание командующего.

Когда Сабуров рассказал ему, что командный пункт армии находится на старом месте, на лице Проценко мелькнула одобрительная улыбка: видимо, он разделял чувства командующего. Внешнее неблагоразумие такого шага было на самом деле тем высоким благоразумием, которое на войне так часто не совпадает с, казалось бы, ясными на первый взгляд требованиями здравого смысла.

По дороге от Проценко к себе Сабуров зашел в блиндаж к Бабченко. Как передали ему в штабе дивизии, Бабченко звонил и велел ему зайти.

Бабченко сидел за столом и трудился над составлением какой-то бумаги.

- Садись, – сказал он, не поднимая головы и продолжая заниматься своим делом.

Это было его привычкой – он никогда не прерывал начатой работы, если приходили вызванные им подчиненные. Он считал это несовместимым со своим авторитетом.

Сабуров, успевший уже привыкнуть к этому, равнодушно спросил у Бабченко разрешения выйти покурить. Едва он вышел, как ему навстречу попался воевавший в дивизии с начала войны командир роты связи старший лейтенант Еремин.

- Здравствуй, – сказал Еремин и крепко тряхнул Сабурову руку. – Уезжаю.

- Куда уезжаешь?

- Отзывают учиться.

- Куда?

- На курсы при Академии связи. Чудно, что из Сталинграда, но приказ есть приказ, – еду. Зашел проститься с подполковником.

- Когда едешь?

- Сейчас. Вот катерок будет, и поеду.

Подумав, что если не его появление, то хотя бы приход явившегося проститься Еремина заставит командира полка оторваться от писания бумаг, Сабуров вошел в блиндаж вслед за Ереминым.

- Товарищ подполковник, – начал Еремин, – разрешите обратиться?

- Да, – отозвался Бабченко, не отрываясь от бумаги.

- Еду, товарищ подполковник.

- Когда?

- Сейчас еду, зашел проститься.

- Бумагу заготовили? – спросил Бабченко, все еще не глядя на Еремина.

- Да, вот она.

Еремин протянул ему бумагу.

Бабченко, все так же не поднимая глаз от стола, подписал бумагу и протянул Еремину.

Наступило молчание. Еремин, переминаясь с ноги на ногу, несколько секунд постоял в нерешительности.

- Так вот, значит, еду, – произнес он.

- Ну что ж. Поезжайте.

- Зашел проститься с вами, товарищ подполковник.

Бабченко наконец поднял глаза и сказал:

- Ну что ж, желаю успеха в учебе, - и протянул Еремину руку.

Еремин пожал ее. Ему непременно хотелось сказать еще что-то, но Бабченко, пожав ему руку и больше уже не обращая на него внимания, опять уткнулся в свою бумагу.

- Так, значит, прощайте, товарищ подполковник, - еще раз нерешительно сказал Еремин и взглянул на Сабурова.

Взгляд у него был не то чтобы обиженный, но растерянный. Он, собственно, не знал, как будет прощаться с Бабченко и в чем будет состоять это прощание, но, во всяком случае, не думал, что все произойдет таким образом.

- Прощайте, товарищ подполковник, - в последний раз повторил он совсем тихо.

Бабченко не расслышал. Он прилаживал к сводке чертежик и аккуратно по линейке проводил на нем линию. Еремин потоптался еще несколько секунд, повернулся к Сабурову и, пожав ему руку, вышел. Сабуров проводил его за дверь и там, у выхода из блиндажа, крепко обнял и поцеловал. Затем он зашел обратно к Бабченко.

Тот все еще писал. Сабуров с раздражением посмотрел на его упрямо склоненное лицо с начинавшим лысеть лбом. Сабуров не понимал, как мог подполковник, который провоевал с Ереминым год, вместе с ним рисковал жизнью, ел из одного котла, в случае нужды, наверно, спас бы его на поле боя, - как он мог сейчас так отпустить человека. Это было то бесчувствие к людям и к судьбе их, после того как они выбывали из части, которое Сабуров с удивлением иногда встречал в армии. Сабуров так ощущал на себе эту боль, только что перенесенную Ереминым, что, когда Бабченко, желавший узнать из первых рук, что делается в армии, наконец заговорил с ним, - Сабуров, против обыкновения, отвечал очень сухо, почти резко. Ему хотелось только одного: поскорее кончить разговор, чтобы Бабченко вновь уткнулся в свои бумаги и не смотрел больше на него, так же как он не посмотрел на уходившего Еремина.

Возвращаясь в батальон, Сабуров по дороге подумал: странная вещь - в том, что вдруг из Сталинграда в самые горячие дни человека брали учиться в Академию связи, несмотря на кажущуюся на первый взгляд нелепость этого, было в то же время ощущение общего громадного хода вещей, который ничем нельзя было остановить.

Х

Дома, в батальоне, Сабурова ждал гость. За столом, против комиссара, сидел незнакомый худощавый немолодой командир, в очках, с двумя шпалами на петлицах. Когда Сабуров вошел, оба поднялись.

- Вот позволь представить тебе, Алексей Иванович, товарищ Лопатин из Москвы, корреспондент центральной прессы.

Сабуров поздоровался.

- Давно из Москвы?

- Вчера утром был еще на Центральном аэродроме, - сказал Лопатин.

- Ну как там Москва без нас?

Лопатин улыбнулся. Скольких бы он ни встречал людей, ни один не мог удержаться от этого вопроса.

- Ничего, стоит, - ответил он той же фразой, какой всегда отвечал на этот вопрос.

- Кто вас к нам направил?

- Командир дивизии. Но мне еще во фронте посоветовали заехать именно к вам в батальон.

- Ну? - удивился Сабуров. - Что ж вам там сказали про нас? Интересно все-таки.

- Сказали, что вы отбили три дома и площадь и с тех нор за шестнадцать суток ничего не отдали немцам.

- Это верно, не отдали, - подтвердил Сабуров. - Если бы попали к нам дней семь-восемь назад, было бы интересней. А сейчас тихо.

Лопатин снова улыбнулся. Сколько раз он слышал эти слова: «Вы бы приехали к нам пораньше...» Людям всегда казалось, что самое интересное у них или уже было, или еще только будет.

- Ничего, - сказал он, - посижу у вас, соберу материал. Это даже хорошо, что тихо, можно с людьми поговорить.

- Да, - согласился Сабуров, - тогда бы не поговорили.

Они посмотрели друг на друга.

- Ну что про Сталинград пишут, что говорят вообще? - спросил Сабуров с жадностью человека, давно не издавшего газет.

- Много пишут, - ответил Лопатин, - а еще больше думают... Недавно был на Северо-Западном, там многие просто изводятся. Считают, что здесь ад, и все-таки подают рапорта, чтоб их послали сюда.

- Вы к нам надолго? - спросил Сабуров.

- Да нет, денька на два, а потом на южный участок.

- Правильно, - поддержал Сабуров, - там сейчас горячее.

- С кем посоветуете поговорить у вас?

- Ну с кем же?.. С Конюковым можно поговорить. Есть у нас такой старый солдат. По ротам можно сходить. Гордиенко - командир первой роты или хотя бы Масленников - мой начальник штаба, молодой, но очень хороший командир, - вам командиры тоже нужны?

- Конечно.

- Тогда с Масленниковым поговорите.

- Я с вами хочу поговорить, - сказал Лопатин.

- Со мной? Можно и со мной поговорить, только с батальоном познакомьтесь сначала.

Командира батальона без этого не раскусишь. А что он сам про себя расскажет – дело второе... Сколько времени? – поглядел на часы Сабуров. – Четыре часа. Долго я провозился... Надо спать. Мы вам завтра сюда койку притащим, а сегодня уж вы на пару с начальником штаба или с комиссаром. Положил бы с собой, но боюсь, что прогадаете.

- Боюсь, что так, – согласился Лопатин, поглядев на рослую фигуру Сабурова.

Сабуров уже совсем было собрался спать и стоял посреди комнаты, размышляя, где бы достать одеяло для гостя. Вдруг его взгляд упал на стоявшую на столе фляжку, и ему захотелось выпить.

- А вам очень хочется спать? – спросил он.

- Да нет, не очень.

- Тогда, может быть, все-таки... Ты кормил его, комиссар?

- Немножко закусили.

- Давайте закусим еще и со мной, если спать не очень хочется.

Пока Петя собирал на стол, Сабуров один за другим задавал Лопатину короткие неожиданные вопросы.

- Как, баррикады стоят еще в Москве?

- Нет, разобрали.

- А укрепления вокруг остались?

- По-моему, остались.

- И люди там на всякий случай сидят?

- Насколько понимаю, сидят.

- Вот это хорошо. А в опере вы бывали?

- Один раз был.

- На чем?

- На «Евгении Онегине».

- Интересно, – сказал Сабуров. – Значит, идет, как и раньше шла! Я вообще-то не люблю оперу.

- Я тоже, – сказал Лопатин.

- Певицы обычно полные, а играют девушек. Не вяжется. Может, сейчас, в связи с войной, похудели?

- Нет, не похудели, – улыбнулся Лопатин.

- Машин, наверное, много меньше стало в Москве?

- Меньше, а народу уже прибавилось, не то что зимой сорок первого.

Петя принес сковородку с жареными консервами.

- Вот американские консервы, - сказал Сабуров, - прошу. Мы тут между собой, шутя, их вторым фронтом называем. Надеюсь, пьете? - спросил он, ставя перед гостем фугасник.

Лопатин усмехнулся, он уже привык, что ему постоянно задавали этот вопрос даже на фронте, где обычно человека не спрашивают - пьет он или не пьет. Виной были его профессорские с двойными стеклами очки и вообще вся его сугубо невоенная внешность обряженного в форму научного работника средних лет.

- Пью, разумеется.

Они выпили по одному фугаснику, потом и по второму, Сабуров страшно устал за день, и, против обыкновения, водка слегка ударила ему в голову.

- Советую в один из дней во вторую роту сходить, там у меня очень хорошие люди: особенно с Конюковым поговорите. А вы знаете, - сказал он, останавливаясь от внезапно пришедшей ему в голову мысли, - вам, наверное, страшнее на войне, чем нам.

- Почему?

- Ведь вы же свое дело делаете потом, когда в Москву вернетесь, или там на телеграфе, в штабе, а тут только смотрите для того, чтобы потом написать. Мне почему не так страшно? Потому что я занят, мне дохнуть некогда: тут идет обстрел, мины рвутся, а я говорю по телефону - мне доложить нужно, но телефонист не слышит, я его матом, ну и за всем этим как будто и забудешь про мины. А вам же тут делать нечего: только сиди и жди - попадет или нет. Вот вам и страшней.

- Да, может быть, вы и правы, - согласился Лопатин.

Они оба помолчали.

- Ляжем спать? - спросил Сабуров.

- Сейчас ляжем, - нехотя ответил Лопатин.

Ему не хотелось прерывать беседы. Он уже имел много случаев убедиться, что люди на войне стали проще, чище и умнее. Быть может, в сущности они остались теми же, какими были, но хорошее у них оказалось на виду оттого, что их перестали судить по многочисленным и неясным критериям. Началась война, и все это оказалось не самым существенным, и люди перед лицом смерти перестали думать о том, как они выглядят и какими они кажутся, - на это у них не осталось ни времени, ни желания.

- Ложитесь, - сказал Сабуров, - утро вечера мудренее, завтра сами найдете, с кем сто́ит поговорить, у меня много хороших людей, почти все хорошие. Вам, наверное, часто приходится слышать от командиров эту фразу?

- Часто, - подтвердил Лопатин.

- Ну что ж, она правильная. Не знаю, какими они были до войны и какими будут после нее, но сейчас они действительно почти все хорошие. И надеюсь, такими и останутся, - те, конечно,

кто будет жив. Ну, будем спать.

Сабуров подошел к кровати, на которой, раскинувшись, лежал уже уснувший Ванин, и подвинул его к краю.

- Зачем? - торопливо сказал Лопатин. - Разбудите.

- Нет, - улыбнулся Сабуров, - будет спать. Вот если телефон зазвонит - другое дело, по себе знаю. Ложитесь, полкойки свободно.

Лопатин снял сапоги и, не раздеваясь, лег, накрывшись шинелью.

Сабуров сел на свою кровать и закурил. Ему не спалось. Снаружи доносился равномерный унылый шелест дождя, быть может, последнего в этом году.

XI

Рано утром Лопатин с Ваниным ушли в первую роту. Сабуров остался: он хотел воспользоваться затишьем. Сначала они два часа просидели с Масленниковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней мирной привычки ко всякого рода канцелярщине. Потом, когда Масленников ушел, Сабуров сел за отложенное и тяготившее его дело - за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уже повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его сердили люди, которые, когда кто-нибудь погибал в их части, старались как можно дольше не ставить об этом в известность его близких. Эта кажущаяся доброта представлялась ему просто желанием пройти мимо чужого горя, чтобы не причинить боли самому себе.

«Петенька, милый, - писала жена Парфенова (оказывается, его звали Петей), - мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама, и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было недлинное - привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов, в конце две строчки детских каракуль, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой водила рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка»...

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет, - и все-таки всегда он неизменно думал над этим, словно писал ответ в последний раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и подложенные под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и погибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и убит. Но там, в Пензе, на улице Маркса, 24, эти слова - «он убит» - были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Карла Маркса, 24, жена переставала называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми, - они уже назывались сиротами. Это было не только

горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы тем, кто прочтет, казалось, что это написал их товарищ по горю, человек, так же горюющий, как они, тогда легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, но не так обидно, не так скорбно прочесть...

Людам иногда нужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически или, как это пишут, пал смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб, чтобы он погиб, сделав что-то важное, и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить это желание, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше – это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым, размашистым почерком. Он написал о том, как они служили вместе с Парфеновым, как Парфенов героически погиб здесь в ночном бою, в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем упасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как он умер на руках у Сабурова, и как он перед смертью вспоминал сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

Закончив письмо, Сабуров взял лежавшую перед ним фотографию и, прежде чем вложить в конверт, посмотрел на нее. Она была снята еще в Саратове, где они переформировывались: маленький Парфенов стоял в воинственной позе, придерживая рукой кобуру нагана, – наверное, на этом настоял фотограф.

Следующее письмо было сержанту Тарасову из первой роты. Сабуров знал, что Тарасов тоже погиб в первом бою, но как и при каких обстоятельствах – не знал. Это было письмо из деревни, написанное крупными буквами на клетчатой тетрадной бумаге, с упоминанием всех родных – короткое обычное письмо, в котором, однако, за каждой буквой его чувствовались любовь и тоска, неумело выраженные, но от этого не менее сильные... И, отвечая на это письмо, не зная, как погиб Тарасов, Сабуров все-таки написал, что тот был хорошим бойцом, погиб смертью храбрых и что он, командир, гордился им.

Потом Сабуров взялся за третье письмо и, дописав его до конца, позвонил в первую роту, где были сейчас комиссар и Лопатин.

– Уже пошли к вам, – ответил командир роты Гордиенко.

– Лазили? – спросил Сабуров»

– Порядочно.

Сабуров услышал, как Гордиенко усмехнулся в телефон, и, положив трубку, облегченно вздохнул.

Обедали вчетвером: кроме комиссара и Лопатина, подошел и Масленников. Лопатин, вернувшись в штаб, был полон той радостной облегченности, какая появляется у человека на войне, когда чувство опасности переходит в чувство относительной безопасности.

За обедом он заговорил как раз об этом:

– Вот вы вчера говорили, кому из нас страшней. Откровенно сказать, чувство опасности и возможности умереть – утомительное чувство, от него устаешь, не правда ли?

- Правда, - подтвердил Сабуров.

- В тылу часто не понимают, что опасность не есть величина постоянная, что на фронте все относительно. Когда после атаки солдат попадает в окоп, окоп кажется ему безопасностью; когда я из роты прихожу к вам в батальон, мне эта ваша нора кажется крепостью; когда вы попадаете в штаб армии, вам кажется, - там тишина, а на том берегу Волги, хоть его и обстреливают, для вас курорт, между тем как для меня вчера утром уже тот берег казался страшной опасностью.

- Все верно, - согласился Сабуров, - с той поправкой для Сталинграда, что здесь сейчас штаб армии находится так же близко от немцев и в такой же опасности, как мы, а учитывая сегодняшнее затишье у нас, даже в большей.

После обеда Сабуров взял шинель и, надевая ее, без всякой задней мысли сказал:

- Ну, я пойду во вторую роту...

Но Лопатин воспринял это как приглашение или, может быть, даже вызов. Он тоже поднялся и молча надел шинель.

- А вы куда?

- С вами, - ответил Лопатин.

Сабуров посмотрел на него, хотел возразить, но потом понял, что если этот человек принял простые, не относившиеся к нему слова за предложение идти, то теперь он все равно настоит на своем. И, питая неприязнь к лишним разговорам, Сабуров просто сказал:

- Ну хорошо, пойдете.

Второй ротой по-прежнему командовал сибиряк Потапов. Увидев Сабурова с незнакомым человеком, должно быть, из штаба, Потапов, по укоренившейся у фронтовиков в дни затишья привычке, начал с того, что пригласил их к себе в блиндаж закусить чем бог послал.

- Ничего особенного, правда, нет, - наши сибирские пельмени, только и всего.

Сабуров знал, что если уж у Потапова есть пельмени, то это отличные пельмени. И вообще в тоне, которым было сказано Потаповым «ничего особенного», было то особое фронтовое щегольство, с которым младшие начальники приглашали к столу старших, повсюду, начиная с роты и кончая армией. Всегда, когда это было мало-мальски возможно, они старались устроить так, чтобы повар у них был лучше, чем у начальства, и готовил вкуснее...

Отказавшись от пельменей, Сабуров и Лопатин пошли по окопам.

Отделение, которым командовал Конюков, окопалось за передней стеной дома. Окоп был вырыт под самой стеной, вдоль фундамента. Два хороших хода сообщения шли из окопа назад под дом, где была вырыта покрытая обгорелыми бревнами землянка. Два пулеметных гнезда были аккуратно устроены, места для стрелков тоже, причем слева всюду были сделаны земляные полочки, где лежал всякий солдатский припас: гранаты, котелки и прочее.

- Курите, курите, - сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись при его появлении.

- Насыпай табачок да кури, землячок, - подал команду Конюков.

Все кругом засмеялись, и Сабуров понял, что разговор в рифму не случайность, видимо, Конюков щеголяет этим.

- Ну как живешь, Конюков? - спросил Сабуров.

- Хорошо, товарищ капитан.

В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но после полумесяца боев среди опасностей он стал чувствовать себя на более товарищеской ноге с начальством.

- Как, привык к бомбам?

- Так точно, привык. Уж он («он» на солдатском языке неизменно означало - немец) бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть!

- Вот старший сержант Конюков, - сказал Сабуров, повернувшись к Лопатину. - За храбрость представлен мною двадцать седьмого числа к ордену.

Конюков счастливо улыбнулся. Он уже слышал от командира роты, что его представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при бойцах, было ему приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то, что требовалось сказать сейчас, а то, что вьелось еще издавна, на действительной, и вместо «Служу Советскому Союзу» рявкнул: «Рад стараться...»

- Вот товарищ корреспондент из Москвы, - сказал Сабуров. - Расскажи ему, Конюков, чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.

Конюков снял с груди и передал капитану большой цейсовский бинокль, подобранный им в день взятия дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему командирский вид, и сейчас отдал его Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с той войны знал, что занимательные и полезные трофеи начальство любит отбирать у подчиненных для себя.

Пока Сабуров, примостившись за выступом стены, внимательно рассматривал в бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. Двадцать седьмое число он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему доставляло удовольствие.

Двадцать седьмого он был связным и семь раз засветло переползал по открытому месту из второй роты в первую и обратно там, где все остальные связные были убиты. Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения.

- Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня и летят, и летят, а у меня на спине тощий такой вещевого мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок, хотя и легче без них ползти, но оставлять нельзя - знаешь, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или ранят посередине дороги, опять же перекурить надо и хлебушко пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что нет едока, чтоб он был без котелка, - опять срифмовал Конюков. - Ползу, и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит. И не потому гремит, что привязано плохо, а потому, что пули по нему бьют, - он же высоко, - ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо... Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал мешок. Свалился он рядом со мной и дымится; он его, значит, зажигательной пулей зажег. И тут я засмеялся, - мне смешно стало, потому что, думаю, что я, танк, что ли, что он у

меня башню зажег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что грязь аж в голенища залезает. А он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем к земле прижимаюсь...

- Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня и летят, и летят, а у меня на спине тощий такой вещевого мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок, хотя и легче без них ползти, но оставлять нельзя - знаешь, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или ранят посередеь дороги, опять же перекурить надо и хлебушко пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что нет едока, чтоб он был без котелка, - опять срифмовал Конюков. - Ползу, и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит. И не потому гремит, что привязано плохо, а потому, что пули по нему бьют, - он же высоко, - ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо... Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал мешок. Свалился он рядом со мной и дымится; он его, значит, зажигательной пулей зажег. И тут я засмеялся, - мне смешно стало, потому что, думаю, что я, танк, что ли, что он у меня башню зажег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что грязь аж в голенища залезает. А он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем к земле прижимаюсь...

Конюков оглянулся: бойцы слушали его не в первый раз, и на лицах их изобразилась в этом месте готовность улыбнуться: они предвидели, что здесь будет уже известная им и неизменно доставлявшая удовольствие шутка.

- Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, как по первому году к молодой жене не прижимался, ей-богу, вот те крест, - серьезно перекрестился Конюков под хохот окружающих. - А потом я за развалину заполз, так он меня из пулемета взять не может и в живых отпустить тоже не хочет; обидно ему - вторую войну все в меня целит, а попасть не может, промахивается. Ну и начал он в меня мины бросать. А кругом грязища... Мина разорвется, а осколки кругом меня шлепают, будто овцы по грязи идут...

- Ну, вы еще тут поговорите, - сказал, прерывая Конюкова, Сабуров, - я сейчас вернусь, - и, отдав обрадованному Конюкову бинокль, вылез из окопа и пошел в соседний взвод.

Минут через тридцать, когда он собирался обратно, он услышал там, где было отделение Конюкова, несколько длинных пулеметных очередей из «максима». Он не успел подумать, с чего бы это вдруг, как сейчас же одна за другой пять или шесть немецких мин просвистели над головой и разорвались примерно там, где был Конюков. Выждав с минуту, Сабуров пополз обратно. Он застал Конюкова и Лопатина сидящими друг против друга в окопе.

- Вот видишь, я же говорил, - неодобрительно произнес Конюков. - Как мы по ему стеганули, так и он по нас.

- Ну и правильно, - отвечал несколько взволнованный Лопатин.

- В чем тут дело? - спросил Сабуров. - Ни в кого не попало?

- Нет, вот только ихнюю фуражечку попортило, - сказал Конюков, приподнимаясь и насмешливо двумя пальцами беря с края окопа лежавшую там доньшком вниз фуражку Лопатина. - Они ее, как целиться стали, сняли и вот положили. А немец, аккурат, как яиц в лукошко, туда осколков и насыпал.

Действительно, на дне фуражки лежало два мелких осколка, попавших туда уже на излете и не прорвавших фуражки насквозь, а только немножко поцарапавших ее.

Сабуров, вытряхнув осколки, посмотрел на фуражку.

- Все подумают - моль проела, никто не поверит, если расскажете, что осколки попали.

- А я не буду рассказывать, - усмехнулся Лопатин.

- Значит, это вы стреляли? - спросил Сабуров.

- Я... Вот по тем развалинам. Они мне сказали, там немцы сидят...

- Сидят, так точно, - подтвердил Конюков, - оттого и ответ дали, что сидят.

- А отчего сегодня так редко стреляете по ним? - спросил Лопатин. - Патроны бережете?

- Зачем патроны, - ответил Конюков, - не патроны бережем, а чего же стрелять, пока его не видать. Как его видать будет, так и будем стрелять...

- Кончили разговор? - спросил Сабуров. - Кончили? Ну и хорошо, пойдете.

Когда они добрались до блиндажа Потапова, Потапов, встретивший их на пороге, опять заговорил о пельменях.

- Очень прошу, хотя бы ради приезда гостя, а товарищ капитан? - начал Потапов, и именно в этот момент сразу два тяжелых снаряда разорвались позади блиндажа.

Сабуров толкнул Лопатина в блиндаж, а сам, прижавшись к стенке, стал ждать. Вслед за первыми спереди и сзади обрушилось еще десятка полтора снарядов, потом начали рваться мины, и снова снаряды, и снова мины, и так продолжалось минут пятнадцать.

Стараясь перекричать грохот, Потапов уже давал приказания связным, и те по ходам сообщения бежали во взводы.

Сабуров поглядел на небо. Построившись гусиным клином, шли немецкие бомбардировщики. Он прикинул на глаз: отсюда трудно было разобрать, но казалось - их не меньше шестидесяти...

После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.

- Вот и кончилось затишье, - тихо сказал Сабуров скорее себе, чем Лопатину. - Потапов, - позвал он.

- Слушаю.

- Батальонный комиссар останется у вас, пока не кончится артподготовка. Выберите паузу и пошлете его с автоматом ко мне. Я пойду в батальон.

- Товарищ Сабуров, я с вами, - попросился Лопатин.

- Нет, - резко сказал Сабуров. - Сейчас мы с вами дискуссировать не будем. Потапов выберет минуту и пошлет вас с автоматчиком.

- А не лучше ли...

- Все. Здесь хозяин я. Петя, пошли...

И, выскочив из окопа, Сабуров и Петя быстрыми перебежками двинулись к дому, где помещался штаб батальона.

Затишье действительно кончилось, и Сабуров, переползая от воронки к воронке, подумал о том, что если самое большое через полчаса не начнется немецкая атака, - значит, он еще ничему не научился на этой войне.

XII

После затишья шли уже пятые сутки боев. Сабуров, пятую ночь спавший кое-как, проснулся от грохота канонады. Он пошарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за войну он почувствовал головокружение: в воздухе плясали огненные точки, потом они превращались в сплошные огненные круги и вертелись перед глазами. Сегодня это было особенно некстати: предстояли и трудный день, и трудная ночь. Вчера вечером батальонный разведчик казанский татарин Юсупов, бывший борец, кроме «языка», принес еще интересные сведения. Судя по его рассказу, за южными развалинами (так теперь в батальоне называлось бывшее здание заводского клуба) оставался свободный проход, не охраняемый немцами. Юсупов беспрепятственно лазил по нему уже вторую ночь и уверял, что если обмотать чем-нибудь сапоги и не греметь автоматами, то можно через этот проход выбраться дворами в тыл к немцам и ночью перебить целую роту. Перебить целую немецкую роту было соблазнительным делом, но хотя Сабуров и доверял Юсупову, однако, прежде чем пойти на такое предприятие, хотел лично удостовериться в точности его донесения. Сегодня на одиннадцать часов вечера он назначил рекогносцировку. И вот опять не выспался, хотя, готовясь к рекогносцировке, специально хотел выспаться. И еще это чертово головокружение... Впрочем, впереди был еще целый день: всего тяжелее с утра, пока не расходишься.

Он поднялся, подошел к лампочке и, взяв со стола зеркало, посмотрелся в него: «Сегодня можно еще не бриться». В блиндаже было душно и сыро, со стен текло. Кладя зеркало, он уронил его, и оно разбилось. Он подобрал самый большой осколок, в который можно было еще смотреться, и положил на стол.

«Разбить зеркало - к беде». Он усмехнулся. Война была такая, что все дурные приметы неизменно исполнялись. Не одно, так другое несчастье или беда приходили каждый день. Нетрудно стать суеверным. Он вспомнил, как позавчера Лопатин, уже выйдя из блиндажа, вернулся за полевой сумкой и тоже рассмеялся, что это к несчастью, а через час ему прострелили руку выше локтя и его пришлось отправить на тот берег.

Он свернул сигарку и чиркнул спичкой. Отсыревшая спичка не зажигалась. Потом чиркал еще и еще, подряд штук десять. Плюнув, бросил на пол и сигарку, и спичечную коробку.

Он перешел сюда позавчера. В первый же день немецкого наступления после затишья у него разбило несколькими прямыми попаданиями подвал котельной. Он перешел в другой, но на следующий день к вечеру разбило и другой. Тогда он перебрался сюда.

Этот блиндаж был еще глубже подвала. Здесь лежали когда-то канализационные трубы, уходившие под землю. Саперы расширили за одну ночь отверстие и сделали блиндаж. Это был третий командный пункт за пять дней.

Он вышел из блиндажа, по ходу сообщения добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. Телефонная связь с ротами рвалась три раза, за час убило двух связистов. Наконец немцев отбили. Сабуров вернулся в блиндаж, позвал Масленникова и отдал приказания, необходимые для отражения новых атак. Едва он успел поговорить с Масленниковым, как к нему в блиндаж влез знакомый военюрист из дивизии, следователь прокуратуры. Сабуров, поднявшись с койки, поздоровался с ним.

- Что, - спросил он, - со Степанова допрос снимать будете?

- Да.

- Горячо сегодня, не время.

- Все время не время, неизвестно, когда время будет, - возразил следователь. - Ничего не поделаешь.

- Отряхнитесь, - сказал Сабуров.

Следователь только теперь заметил, что был весь в грязи.

- Ползли?

- Да.

- Хорошо, что благополучно.

- Почти, - сказал следователь. - У вас сапожника нет в батальоне?

- А что?

- Осколком как на смех полкаблука оторвало.

Он вытянул ногу: у сапога действительно было аккуратно отрезано полкаблука.

- Нет сапожника. Был один, вчера ранили. Где же Степанов? Петя! - крикнул Сабуров. - Проводи товарища командира к дежурному, там у него за помощника Степанов сидит, - боец, знаешь?

- Как помощник дежурного? - удивился следователь.

- А что же мне с ним делать? Охрану возле него ставить? У меня и так людей нет.

- Так он же под следствием.

- Так что же, что под следствием. Говорю вам - нет людей. Тут мне, в ожидании ваших решений, его охранять некем и, по совести говоря, не для чего...

Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, подумал, что война изобилует нелепыми положениями. Конечно, этот следователь делает свое дело, и Степанова, может, и надо отдать под суд, но вот следователь приполз допрашивать его здесь... Для того чтобы снять допрос, он рисковал жизнью... Его могли убить по дороге, и, когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, и когда он пойдет обратно в дивизию и, может быть, возьмет с собой Степанова, то и Степанова и его на обратном пути совершенно одинаковым образом могут

убить. А между тем все это, вместе взятое, как будто происходило по правилам, так, как и должно было происходить.

Забрав Степанова из дежурки и для порядка взяв конвоира, следователь устроился в полуподвале с обвалившимися окнами и небом, просвечивающим сквозь дыру в перекрытии. Стена была в двух местах насквозь пробита снарядами, на каменном полу темнели пятна крови, – наверное, тут кого-нибудь убило или ранило.

Степанов сидел на корточках у стены, следователь – на кирпичках посередине подвала. Он записывал, доложив на колени планшет.

Степанов был колхозник из-под Пензы, боец второй роты. Ему было тридцать лет. Дома у него остались жена и двое детей. Его призвали в армию, и он сразу же попал в Сталинград. Вчера вечером, во время последней атаки немцев, когда он со своим напарником Смышляевым сидел в глубоком «ласточкинском гнезде» и стрелял по танкам из противотанкового ружья, он промахнулся два раза подряд, и танк, прогрохотав гусеницами над головой и обдав окоп запахом бензина и гари, прополз дальше. Смышляев закричал что-то непонятное, приподнялся и бросил вслед танку, под гусеницу, тяжелую противотанковую гранату. Она взорвалась, танк остановился, но в это время второй танк с таким же ревом пронесся над окопом. Степанов успел нырнуть глубоко в гнездо, и его только засыпало землей. Смышляев не успел. Когда Степанов приподнялся, вместе с землей в «ласточкинское гнездо» свалился Смышляев, вернее, нижняя часть его, до пояса, – все, что выше, было раздавлено танком. Когда этот кровавый обрубок упал в окоп рядом со Степановым, он не выдержал и, не думая больше ни о чем, пополз из окопа. Он полз все время к Волге, ничего не соображая, стремясь только отползти как можно дальше.

Ночью его нашли уже в расположении штаба полка. Он рассказал все, как было. Бабченко дал ему конвоира и с сопроводительной отправил к Сабурову, послав по официальной линии в дивизию сведения о нем как о дезертире.

Сабурову доложили об этом случае, но он в суматохе боя не успел поговорить со Степановым, а теперь по донесению Бабченко сюда уже явился следователь разбирать дело...

Степанов сидел перед следователем и отвечал то же самое, что он отвечал вчера ночью Бабченко. Следователь, против обыкновения, медлил и задавал много вопросов. Он не знал, что делать со Степановым. Степанов был дезертир, но в то же время ничего преднамеренного он не сделал. С ним был шок: он не вынес ужаса и пополз назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы опомнился и вернулся обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, придя в себя, и сам Степанов. Но факт дезертирства оставался фактом, и ради общего порядка оставить это безнаказанным было нельзя.

– Я бы обратно пришел, ей-богу, – после молчания, не ожидая новых вопросов, убежденно сказал Степанов. – Я бы и сам пришел...

В эту минуту непрерывно гремевшая кругом канонада прекратилась и раздались близкие автоматные очереди. Петя, пробежавший через подвал от Сабурова к дежурному, крикнул на ходу:

– Немцы прорываются! Капитан приказал всем, кто с оружием, в бой! – и побежал дальше.

Следователь, немолодой и, в сущности, штатский человек, переодетый в военное, снял очки, протер стекла, снова надел их и, взяв лежавший рядом с ним автомат – оружие, с которым уже давно никто в дивизии не расставался, – неторопливо вылез через пролом наружу.

Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом на Степанова и, сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем.

Это была вторая за день решительная атака немцев, когда их автоматчики, человек двадцать, через стену забрались во двор дома. Во дворе шла стрельба в упор.

Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него.

Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько вообще можно руководить рукопашной.

Часть немцев убили, часть выбили за ограду. Следователь и конвоир влезли обратно через пролом и устало опустились на кирпичи. У следователя из кисти руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь.

- Надо перевязать, - сказал конвоир.

- У меня пакета нет.

- Нет? - произнес Степанов и, порывшись в кармане гимнастерки, вытащил оттуда индивидуальный пакет.

Он и конвоир вдвоем перевязали раненому руку. Потом Степанов отошел и снова присел у стены. Лишь теперь они вспомнили, что допрос был прерван атакой и что его, очевидно, надо продолжить. Но продолжать допрос следователю не хотелось. Чтобы протянуть время и отдышаться, он здоровой рукой вытащил из кармана кисет с табаком, с трудом, помогая себе забинтованными пальцами, свернул сигарку, потом, посмотрев на Степанова и конвоира, с той автоматической привычкой делиться табаком, которая появляется у людей, долго пробывших на фронте, протянул им кисет.

Степанов вслед за конвоиром взял щепотку, вытащил заботливо хранимый обрывок газеты, оторвал полоску и свернул сигарку. Они все втроем закурили. Курение продолжалось минут десять. Тем временем снова началась канонада. Под звуки ее следователь стал наспех доканчивать допрос, с трудом придерживая планшет раненой рукой. Вскоре допрос был окончен, предстояло сделать заключение. В эту минуту, так же как и в первый раз, канонада прекратилась и снова началась немецкая атака.

Заслышав автоматные очереди, следователь снова молча потянул к себе автомат, взял в здоровую руку и, не оборачиваясь, вылез из подвала. Конвоир последовал за ним.

Степанов снова остался один. Он растерянно огляделся по сторонам. За стеной слышалась близкие выстрелы. Степанов еще раз поглядел по сторонам и полез в пролом за конвоиром. Выскочив наружу, он огляделся и, увидев рядом с лежавшим на земле убитым красноармейцем винтовку, схватил ее. Пробежав несколько шагов, он лег на груды кирпичей неподалеку от следователя и еще нескольких лежавших тут же бойцов. Когда левее его немцы выскочили из-за стены, он вместе со всеми начал стрелять по ним. Потом поднялся, пробежал несколько шагов и, перевернув винтовку, прикладом ударил по голове набежавшего на него автоматчика. Потом снова упал за камни и несколько раз выстрелил по двигавшимся в глубине двора немцам.

Немцы тоже стреляли. На этот раз во двор их пробралось человек десять, и через несколько минут они все были или убиты, или ранены.

Атака отхлынула, выстрелы гремели уже за стеной. Степанов встал и, не зная, что делать, подошел к стене, где лежали следователь и конвоир. Конвоир встал, но следователь продолжал лежать: он был ранен в ногу. Степанов поднял его, увидел, что нога сильно кровоточит, и, взвалив следователя на плечи, потащил в подвал. Там он опустил его на пол, подложив, чтобы было повыше, два кирпича в изголовье.

- Сходи за сестрой или санитаром, - сказал следователь Степанову.

Степанов привел санитаря, который, согнувшись над раненым, стал перевязывать ему ногу. Раненый не стонал. Он лежал молча и ждал, когда кончится эта боль.

Конвоир вытащил из-за голенища жестянку с махоркой, свернул сигарку себе, потом дал щепотку Степанову и спросил раненого:

- Разрешите вам свернуть?

- Сверни, - ответил тот.

Конвоир свернул сигарку, лизнул, заклеил и, вложив в рот раненому, зажег спичку. Раненый несколько раз подряд жадно затянулся.

- Разрешите вам свернуть?

- Сверни, - ответил тот.

Конвоир свернул сигарку, лизнул, заклеил и, вложив в рот раненому, зажег спичку. Раненый несколько раз подряд жадно затянулся.

По дороге к себе в блиндаж через подвал прошел Сабуров. Сегодня он до того устал, что ему было тяжело нести автомат, и он волочил его за собой прикладом по земле.

- Перекуриваете? - спросил он. В углу рта его была зажата потухшая сигарка, которую он закурил еще в блиндаже перед боем и так и забыл о ней. - Дайте прикурить.

Только уже прикуривая у конвоира, он сообразил, что это за люди. Он посмотрел на Степанова, потом на раненого и спросил:

- Сильно задело?

- Порядочно.

- Сейчас скажу, чтобы вынесли, а то опять начнется. - Он посмотрел на белое, без кровинки лицо следователя. - С допросом закончили?

- Закончили.

- Ну и какое же ваше заключение?

- Какое же заключение, - сказал следователь. - Будет воевать. Вот и все.

Он взял планшет, вытащил оттуда протокол и написал внизу: «Состава преступления для предания суду трибунала нет. Отправить на передовые», - и расписался.

- Отправить на передовые, - повторил он вслух и, преодолевая боль, усмехнулся.
- Отправлять недалеко, сто шагов, - сказал Сабуров и повернулся к Степанову: - Иди к себе в роту. Винтовка чья?
- С убитого взял, товарищ капитан.
- Будет твоя. Доложи Потапову, что я тебя прислал.

Был особенно тяжелый день, один из тех, когда напряжение всех душевных сил доходит до такой степени, что в самый разгар боя неожиданно и невыносимо хочется спать. После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора высилось небольшое полуразрушенное складское здание. Было оно построено прочно, с толстыми стенами и глубоко уходящим в землю подвалом. Среди остальных зданий, занимаемых Сабуровым, оно стояло особняком, немного впереди и на отлете. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз.

Когда одному танку удалось подойти вплотную к складу и он, прикрывшись его стеной от огня артиллерии, стал стрелять из пушки прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались через проломы, и через несколько минут там прозвучал последний выстрел. Первое желание Сабурова было попытаться тут же, среди белого дня, отбить склад. Но он сдержал себя и принял трезвое решение: сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными силами, а контратаку произвести с темнотой, когда решимость и привычка к ночным действиям возместят ему недостаток людей.

Бабченко, которому он доложил по телефону о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно ругался и в заключение сказал, что придет сам. Сабуров предчувствовал столкновение, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж, злой, потный, с головы до ног забрызганный грязью.

- Ишь забрался, - проворчал Бабченко. - Сколько метров над головой?
- Три.
- Ты бы еще глубже залез.
- А мне глубже не надо. И так не пробьет.
- Залез в землю, как крот, - съязвил Бабченко.

В сущности, он ничего не мог возразить. Сабуров копал этот блиндаж не специально, а лишь расширил старый туннель, и то, что блиндаж его был глубок и не боялся даже прямых попаданий, было только хорошо. Но немцы только что захватили склад, и Бабченко хотелось сорвать зло на комбате.

- Закопался, - повторил он.

Сабуров был зол, устал и не меньше, чем Бабченко, расстроен потерей склада. Он знал, что до самой ночи - до тех пор, пока не удастся отбить склад обратно, - эта мысль, как заноза, будет мучить его, и поэтому в ответ на слово «закопался» сказал с вызовом:

- Что, товарищ подполковник, прикажете командный пункт наверх перенести?

- Нет, - отрезал Бабченко, почувствовав в словах Сабурова иронию. - Склад отдавать не надо было, вот что.

Сабуров молчал. Он ждал продолжения.

- Что думаешь делать?

Сабуров доложил свой план ночной контратаки.

- Что же, - сказал Бабченко, посмотрев на часы, - сейчас четырнадцать. Значит, так и будут они до темноты там сидеть? Ты приказ читал, что ни шагу назад, а? Или, может быть, ты с приказом не согласен?

- В восемнадцать я начну атаку, - стараясь сдержаться, сказал Сабуров, - а в девятнадцать склад будет у меня.

- Ты мне это не говори. Ты приказ читал, что ни шагу назад?

- Да.

- А склад отдал?

- Да.

- Сейчас же отбить! - крикнул Бабченко не своим голосом, вскакивая с табуретки. - Не в девятнадцать, а сейчас же!

По его лицу Сабуров понял, что Бабченко был на той грани усталости и нервного исступления, на которой находился сегодня он сам. Спорить с Бабченко в эту минуту было бесполезно, и если бы дело шло лишь о том, что вот сейчас ему, Сабурову, было бы приказано идти одному к этому сараю среди бела дня, то он бы встал и пошел, с горьким чувством, что если нельзя доказать командиру полка его неправоту ничем другим, кроме своей собственной смерти, - черт с ним, - он, Сабуров, докажет ему это своей смертью. Но в контратаку нужно было вести людей, то есть надо было доказывать Бабченко, что он не прав, не только ценой собственной жизни, но и ценой жизни других.

- Товарищ подполковник, разрешите доложить...

- Ну?

Сабуров еще раз повторил все мотивы, по которым он решил отложить атаку до ночи, и поручился, что в течение дня будет держать всю площадь за складом под таким огнем, что до ночи там внутри не прибавится ни одного немца.

- Ты приказ, чтобы ни на шаг не отступать, читал? - еще раз спросил Бабченко все с тем же беспощадным упрямством.

- Читал, - ответил Сабуров, вытягиваясь, не сводя глаз с Бабченко и встречая его взгляд таким же злым и беспощадным взглядом. - Читал. Но я не хочу сейчас людей класть там, где их не надо класть, где можно почти без потерь все взять обратно.

- Не хочешь? А я тебе приказываю.

У Сабурова мелькнула мысль, что надо вот сейчас же что-то сделать с Бабченко, заставить его

замолчать, не дать ему больше повторять этих слов; что ради спасения жизни многих людей надо позвонить Проценко и доложить, что он отказывается делать так, как хочет Бабченко, а потом – будь что будет – пусть с ним, с Сабуровым, делают что хотят. Но уже ввевшаяся в кровь привычка к дисциплине помешала ему.

- Есть, - сказал он, продолжая все тем же беспощадным взглядом смотреть на Бабченко. - Разрешите выполнять?

- Выполняй.

Все, что произошло после этого, надолго осталось в памяти Сабурова, как дурной сон. Они вылезли из блиндажа. Сабуров в течение получаса собрал всех, кто был под рукой. Бабченко по телефону приказал поддержать контратаку пятью оставшимися еще в полку пушками, которые, впрочем, едва ли могли принести тут пользу. И контратака началась.

Хотя всего двадцать дней назад батальон начинал бои почти в полном составе, но сейчас, когда понадобилось днем, среди боя, организовать контратаку, Сабуров собрал вокруг себя только тридцать человек. Это был весь резерв, на который он мог рассчитывать.

Бабченко торопил. Слова «ни шагу назад» он понимал буквально, не желая считаться с тем, чего будут стоить эти сегодняшние потери завтра, когда немцы снова пойдут наступать и их нечем окажется держать. К началу контратаки с левого фланга не успели перетащить даже минометы, а Сабуров, со своими тридцатью бойцами, перебегая от стены к стене, от развалин к развалинам, уже пошел вперед.

Кончилось это так, как он и ожидал. Семь человек остались лежать между развалинами. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Атака не удалась, и в таких условиях и не могла удалиться.

Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться лежать здесь, где попало, за ненадежными укрытиями, - была верная смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка оглушила Сабурова; вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его оцарапало, по лицу текла кровь, но он ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно.

На обратном пути убило еще одного. Через час после начала этой затеи Сабуров стоял перед Бабченко за низким обвалившимся выступом дома, где тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции, все время под огнем, наблюдал за атакой.

Сабуров козырнул и с хрустом опустил на землю автомат. Должно быть, его измазанное кровью и грязью лицо было такое страшное, что Бабченко сначала ничего не сказал, а потом произнес:

- Отдохните...

- Что? - спросил Сабуров, не расслышав.

- Отдохните, - повторил Бабченко.

Сабуров опять не расслышал. Тогда Бабченко крикнул ему в самое ухо.

- Меня оглушило, - сказал Сабуров.

- Отдохните, - сказал Бабченко в четвертый раз и пошел по направлению к блиндажу.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не спустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не спустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

- Кровь, - заметил Бабченко. - Ранен?

Сабуров вытащил из кармана грязный, земляного цвета носовой платок, плюнул на него несколько раз и вытер лицо. Потом ощупал голову.

- Поцарапало.

- Вызовите из рот всех, кого можно вызвать, - приказал Бабченко, - я сам поведу их в атаку.

- Сколько людей? - спросил Сабуров.

- Сколько есть.

- Больше сорока не будет.

- Сколько есть, я уже сказал, - повторил Бабченко.

Сабуров распорядился вызвать людей и перетащить поближе минометы; все-таки они хоть чем-то могли помочь. При всем своем упрямстве Бабченко понимал, что атака была неудачной по его вине и что следующая атака тоже едва ли будет удачной. Но после того, как на его глазах, по его приказанию, бессмысленно погибли люди, он считал для себя необходимым попробовать самому сделать то, что не сумели сделать его подчиненные.

Пока подтаскивали минометы и собирали людей, давали последние приказания перед атакой, Бабченко вернулся обратно за обломок стены, откуда он наблюдал первую атаку, и стал внимательно рассматривать лежавшее впереди пространство двора, прикидывая, откуда будет удобнее и безопаснее перебежать. Сабуров молча стоял рядом с ним. Шагах в сорока разорвалась немецкая мина.

- Заметили, - сказал Сабуров. - Отойдемте, товарищ подполковник.

Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась чуть подальше.

- Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили, - повторил Сабуров.

Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что, только что посылая людей в атаку, он требовал от них такой же готовности к смерти, какой требовал и от себя.

- Пойдемте! - крикнул Сабуров в третий раз, когда мина разорвалась совсем близко, прямо перед стеной, и над их головами просвистело несколько осколков.

Бабченко молча повернулся, посмотрел ему в глаза, плюнул себе под ноги и твердыми, недрогнувшими пальцами, достав из кисета щепоть табаку, свернул папироску. Потом достал из кармана зажигалку, несколько раз чиркнул, зажег ее, повернулся против ветра и низко наклонился, чтобы закурить. Может быть, если бы он не повернулся, его бы не убило, но он

повернулся, и осколок разорвавшейся в десяти шагах мины попал ему в голову. Он молча упал к ногам Сабурова, тело его только один раз вздрогнуло и замерло. Сабуров опустился рядом с ним на землю, повернул его изуродованную голову и с неожиданным равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко: сердце не билось.

- Убит, - произнес он.

Потом повернулся к Пете, лежавшему в пяти шагах за стеной.

- Петя, иди помоги.

Петя подполз к нему. Они взяли Бабченко за руки и за ноги и перетащили к блиндажу.

- Минометы на позиции, - доложил подбежавший к Сабурову лейтенант. - Прикажете открыть огонь!

- Нет, - сказал Сабуров. - Отставить!

Он подозвал Масленникова и распорядился отменить приготовления к атаке и вернуть людей на их места. Потом, спустившись в блиндаж, позвонил в полк. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, доложил, при каких обстоятельствах, и сказал, что доставит его тело в полк, когда стемнеет.

Конечно, ему было жаль, что Бабченко убили, но в то же время у него было осознанное, совершенно ясное чувство облегчения от того, что теперь он может распорядиться так, как считает нужным, и что не будет повторена еще раз эта нелепая атака, придуманная Бабченко ради собственного престижа. Он приказал вынести раненых и готовиться к ночной атаке склада.

Немцы не предпринимали ничего нового. На сегодня с их стороны, пожалуй, было все кончено. Сабуров поговорил по телефону с ротами и лег спать, приказав разбудить его в семнадцать, перед началом темноты.

XIII

Он проснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня. Она смотрела на него своими большими спокойными глазами. Он поднялся и молча сел, тоже глядя на нее.

- Как хорошо, что вы проснулись. Мне уже скоро уходить. - Она протянула Сабурову руку: - Здравствуйте.

- Садитесь, - предложил Сабуров, подвигаясь на койке.

Аня села.

- — Вижу, вы совсем поправились.

- Да, совсем, - подтвердила Аня. - Я ведь была легко ранена. Только много крови потеряла. Вы знаете, - быстро добавила она, не дав ему ничего сказать, - я встретила маму. Мы теперь с ней вместе.

- Вместе?

- Ну, не совсем вместе. Она там же в деревне, в избе живет, где наш медсанбат стоит; я там ночью с нею вместе. То есть не ночью, а по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы.
- Вы уже давно опять ездите сюда?
- К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказывала.
- Что?
- Все, что знаю.
- А что же вы знаете про меня?
- Очень много.
- Ну а все-таки?
- Много, много, почти все.
- Все?
- Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Мне ваш ординарец сказал.
- А что он вам еще обо мне сказал?
- Что вас сегодня чуть не убили.
- Еще?
- Еще? Больше ничего. Мне некогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых.
- Да, много, - помрачнев, вздохнул Сабуров. - Значит, некогда было. А если было бы время, еще бы спрашивали?
- Да.
- Тогда спрашивайте у меня самого. - Он посмотрел на часы. - Проснулся раньше времени.
- Это я вас разбудила. Я на вас так долго смотрела, что вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы проснулись.
- Я очень рад вас видеть.
- Я тоже, - сказала Аня и посмотрела ему в глаза.

Он понял, что тот неожиданный поцелуй ночью, когда она лежала на носилках, ею не забыт, и вообще ничего не забыто, и что все то небольшое, что было между ними, на самом деле очень важно. Он почувствовал это сейчас, когда взглянул на нее.

- Я тут хорошо если два часа в сутки спал, - сказал он. - Даже почти не вспоминал о вас, так тут все у нас было...

- Я знаю... - сказала Аня. - У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.

Аня теребила пальцами краешек гимнастерки. Сабуров понял, что это не от смущения, а оттого что она хотела сказать что-то важное и подбирала слова.

- Ну? - выжидающе спросил он.

Она молчала.

- Ну что? - повторил он.

- А я много думала о вас, очень много, - сказала она с обычной, отличавшей ее серьезной прямоотой.

- И что надумали?

- Ничего я не надумала. Просто думала.

Она вопросительно посмотрела на него, и он почувствовал - она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное и успокоительное: что все будет хорошо, что они оба будут живы и еще что-нибудь такое же, взрослое, от чего она почувствовала бы себя под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвинул ее к себе и сказал:

- Я так и думал, что вы приедете.

И за этими словами она почувствовала, что он тоже хорошо помнит тот поцелуй на носилках и что именно поэтому говорит: «Я так и думал».

- Вы знаете, - заговорила она, - наверное, у всех так бывает в жизни, как у меня сейчас. Приходит день, и чего-то в этот день очень ждешь. Вот сегодня я с утра весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не замечала. Буду вот так ездить к вам и сама не замечу, как храброй стану.

- Вы и так храбрая.

- Нет, так не храбрая, а вот сегодня храбрая.

Он посмотрел на часы.

- На улице уже начинается темнеть?

- Да, - ответила она, - наверное. Я не заметила. Наверное, наверное, - встrepенулась она. - Надо уже вывозить раненых. Я пойду.

Он был рад этим ее словам: «Я пойду», потому что по часам следовало уже начать готовиться к атаке, хорошо, что она уходит первой.

- В один раз не заберете всех?

- Нет. Я еще раза два буду сегодня. До утра бы всех успеть, и то хорошо...

Сабуров встал и сказал:

- У нас командир полка убит сегодня. Вы знаете?

- Знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас оглушило сегодня?

- Немножко, уже прошло.

Он посмотрел на нее и только теперь догадался, почему она сегодня говорила громче, чем обычно.

- Тоже Петя рассказал?

- Да... Я вас еще увижу сегодня?

- Да, да, конечно, - заторопился Сабуров. - Конечно, увидите. А как же. Только...

- Что?

Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее, и замолчал. Как она могла быть осторожнее? Всегда один и тот же, обычный путь, по которому надо нести раненых в одно и то же время суток. Как она могла быть осторожнее? Просто глупо было бы говорить ей об этом.

- Нет, ничего, - произнес он. - Конечно, увидимся. Непременно.

Когда она вышла, Сабуров с минуту сидел молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорей отбить склад не только потому, что это было нужно, но еще и потому, что только после этого он мог увидеть Аню. Он подумал об этом и сам удивился этой мысли, похожей на мысль о любви.

Однако мысль все-таки возникла и не исчезала. Она оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой, и когда они пошли в эту атаку и сначала ползли среди развалин, а потом перебежали под огнем, и когда, бросив две гранаты, он ворвался с остальными в склад и там началась та неразбериха с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.

На этот раз он взял склад обратно, имея всего одного убитого и пять раненых. И хотя у него, как у многих русских людей, было не показное, а действительное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, но он еще раз с раздражением подумал о Бабченко.

Ванин, вернувшийся днем из второй роты, участвовал в атаке вместе с ним. Хотя это было и неблагоразумно, но он настоял на этом, и Сабуров не нашел в себе сил отказать ему. Вообще он сейчас испытывал такое душевное состояние, при котором ему трудно было отказать человеку в чем-нибудь хорошем. Они все время были рядом и вместе вернулись в блиндаж.

- Этот склад, между прочим, был для декораций, - сказал Ванин. - Вот тот дом, что впереди, это театр строился, а при нем склад был для декораций. И двор. Там рельсы были положены, чтобы на вагонетке декорации прямо со сцены увозить. Здорово, верно?

- Верно, - Сабуров невольно улыбнулся.

- Ты что? - спросил Ванин.

- Подумал, что нет ни одного дома кругом, о котором ты бы не знал всех подробностей.

- А как же? Я же все это строил. И не только дома, я почти всех людей тут знаю. Тут девушка-сестра была у тебя, да?

- Да, - настороженно подтвердил Сабуров, подумав, что сейчас Ванин позволит себе какую-нибудь шутку на этот счет.

- Ее тоже знаю, - сказал Ванин, - увидел и вспомнил. Она на тракторном работала, в инструментальном, нормировщицей. Мы ее хотели комсоргом цеха рекомендовать.

Оказалось, это было все, что он хотел сказать о девушке.

- Почти всех знаю, - повторил он, уже забыв о ней. - И тракторный себе представляю не таким, как он есть, а каким он был раньше. И за станками люди. Ты чего угрюмый сегодня?

- Я не угрюмый. Просто думаю.

- О чем? О Бабченко?

- И о Бабченко,

- Да, - сказал Ванин, - убили. Интересно, кого теперь назначат. Может, тебя?

- Нет, - сказал Сабуров, - наверное, Власова из первого батальона назначат. Он майор.

Зазвонил телефон.

- Вас спрашивают, - обратился связист к Сабурову.

Сабуров подошел. У телефона был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.

- Как живешь? - спросил Проценко.

- Ничего.

- Что же хозяина своего не уберег, а?

- Не мог, - сказал Сабуров.

- А легко отбили склад? - спросил Проценко.

- Легко, с малыми потерями.

- Вот так с самого начала и надо было - отсечь подход подкреплений и отбивать ночью. Так и на будущее себе заведи.

Это звучало упреком. Сабуров хотел было сказать, что не он устраивал эту дневную атаку, но промолчал. Бабченко был уже мертв, и плох он был или хорош, но тоже погиб за Сталинград.

Аня сдержала свое слово и поздно вечером появилась еще раз. Она очень торопилась, забежала на минуту. И сразу ушла. И Сабуров почувствовал тревогу за нее. Окружавшие их здесь в Сталинграде опасности были теперь совсем разные: одни, сами собою подразумевающиеся, - для него и другие, очень страшные и неожиданные, - для нее. И он понял, что теперь всегда будет бояться за нее.

Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать двадцати трех часов - времени, когда Сабуров приказал Юсупову прийти, чтобы вместе двинуться на рекогносцировку. Возможность разведать дорогу, а завтра ночью попробовать перебить

немецкую роту после всех сегодняшних неудач и потерь казалась особенно заманчивой.

Юсупов явился через пять минут. Все у него было уже готово: на шее висел автомат, две гранаты в аккуратном холщовом мешке были прикреплены к поясу. Он был без шинели, налегке, в одном наглухо застегнутом ватнике. Так он всегда ходил в разведку.

- Сейчас пойдём, - сказал Сабуров, - Петя, скажи Петрову, что он со мной пойдёт.

Ефрейтор Петров сопровождал Сабурова в тех случаях, когда Петя оставался в штабе. Сабуров снял со стены свой автомат, надел так же, как и Юсупов, ватник, стянул его потуже ремнем и, положив в карманы две гранаты-«лимонки», которые любил за их малый размер и сильное действие, повесил на шею автомат.

Они вышли: впереди Юсупов, за ним Сабуров, последним Петров. Стояла сырая и темная - хоть глаз выколи - октябрьская ночь. Моросил дождик. Было так темно, что в первую секунду им показалось, что они вышли не на улицу, а только в тамбур между двумя дверьми. Контуров стен сливались с небом, и казалось, что ввысь над развалинами поднимаются тоже дома, только выкрашенные в более светлую краску.

Выйдя из блиндажа, Сабуров подумал, что, в сущности, не грех бы отложить эту рекогносцировку до завтра. И так слишком много всего было за день, а день этот не последний. Но ночная свежесть, тихий дождик и черное низкое небо заставили его встряхнуться.

- Хорошая ночь, - заметил Сабуров. - Верно?

- Так точно, товарищ капитан, - подтвердил Юсупов.

- У вас где семья, Юсупов, в Казани?

- Нет, в Иркутске. Мы уже пятнадцать лет в Иркутске живем.

- Далеко, - задумчиво произнес Сабуров и подумал об Иркутске: наверное, там нет затемнения и на улицах горят фонари. Он на секунду представил себе, что было бы, если бы весь этот свет перенести сейчас сюда, в Сталинград. Вот сюда, где они идут. На всех углах стоят фонари и горят в полный накал. И окна освещены.

Он невольно усмехнулся своей мысли.

Через пять минут они добрались до второй роты, где их встретили у развалин дома Потапов и Масленников.

О том, что Сабуров отправляется на рекогносцировку, Масленников знал, но не одобрял этого, считая, что рекогносцировку должен производить не Сабуров, а именно он, Масленников. Но поскольку Сабурова было трудно отклонить от раз принятого решения, Масленников заранее под каким-то предлогом отправился во вторую роту к Потапову, чтобы на всякий случай оказаться именно там, откуда Сабуров пойдет дальше. То, что Масленников встретил его, было для Сабурова неожиданно, однако он не выразил удивления, а только улыбнулся в темноте.

- Ты уже здесь, Миша?

- Да, товарищ капитан, я...

Масленников начал объяснять, почему именно он оказался во второй роте.

- Знаю, - прервал его Сабуров все с той же невидимой в темноте улыбкой.

Ему было приятно, что Масленников тревожится за него и пришел сюда, чтобы на всякий случай быть поближе.

Когда они уже двинулись, Масленников еще раз подошел к Сабурову, задержал его руку в своей и сказал тихо:

- Алексей Иванович.

- Ну?

- Алексей Иванович, - повторил Масленников.

- Ну что?

Сабуров не сразу понял, что Масленников хочет обнять его.

Они обнялись, и Сабуров пошел. Масленников смотрел ему вслед. Не то что опасение, а какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающаяся на фронте, щемила сердце Масленникова с самого утра, когда он узнал о предстоящей рекогносцировке.

Сначала шли не прячась - темнота ночи позволяла это, потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной наугад пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.

Дождь все еще накрапывал. Стало холоднее. Ночь уже не казалась такой мягкой и спокойной, как вначале. Далеко за домами, левее, то и дело вспыхивала перестрелка.

Им пришлось продвигаться ползком между развалинами, по переулку, который был весь такой, словно здесь только что произошло землетрясение. Кроме обрушившихся вкось стен, превративших переулок в овраг, на земле, среди кирпичей, валялись самые разнообразные, иногда странные на ощупь вещи - обломки мебели, осколки посуды, разбитая ванна, исковерканный самовар, о разодранные края которого Сабуров оцарапал руку.

Так они ползли еще минут пять, может быть, восемь. Хотя расстояние между русской и немецкой линиями было очень небольшое - кое-где достигало двухсот метров, а кое-где сближалось на пятьдесят, но пробираться приходилось извилистыми проходами, среди обломков, и порой трудно было точно разобраться, к кому они сейчас ближе находятся - к своим или к немцам.

Они шли и ползли до тех пор, пока с ними не произошла одна из тех нелепостей войны, которую не могли предвидеть ни немцы, ни русские, ни Юсупов, ни Сабуров - никто и которая тем не менее все-таки произошла. Когда, по расчетам Юсупова, они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их раздалось знакомое, похожее на шум мотоцикла стрекотание мотора ночного У-2. Несколько, как из горшка высыпанных, мелких бомб разорвались кругом них. В этом не было ничего удивительного: они находились на «ничьей» земле, и летчик недобросил бомбы всего на пустяк.

В тот момент, когда рядом с ними разорвались бомбы, Юсупов полз впереди. Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на

Сабурова сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Падая, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли.

В тот момент, когда рядом с ними разорвались бомбы, Юсупов полз впереди. Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на Сабурова сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Падая, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли.

- Юсупов, - шепотом позвал он, - Юсупов.

Юсупов не откликнулся.

- Петров, - прошептал Сабуров.

Никто опять не откликнулся. Ему почудилось, что впереди кто-то шелохнулся, но, придавленный кирпичами, он не мог двинуться. Он прислушался - нет, показалось. В теле было непривычное чувство странной связанности, как будто его всего обкрутили канатом, оставив свободными только левую руку и голову. Кусок кирпича попал в лицо, и на глаза натекала кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу. Потом пошарил рукой вокруг себя и всеми пятью пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. Он тихо, сквозь зубы, вскрикнул и сделал судорожное движение, чтобы отодвинуться от мертвеца. Но его тело, зажатое обвалившимся кирпичом, было неподвижно, он мог только убрать руку.

Небо над его головой было такое черное, словно он ослеп. Дождь - он только сейчас это заметил - все еще шел. Рука онемела. Он придвинул ее к телу и пальцами нащупал завалившие его кирпичи. Несмотря на боль, он помнил, что нельзя ни кричать, ни стонать. Сейчас он никак не мог сообразить, где он находится. Он знал, что это где-то около развалин клуба. Но теперь, после того как его завалило кирпичами, он не мог себе представить, куда он лежит головой и с какой стороны находятся сейчас немцы и с какой свои. Над головой было только небо, одинаковое и темное. Он поймет, где находится, только когда рассветет. Он ужаснулся этой мысли. Никогда за войну, хотя он уже два раза был в окружении, мысль о плене не приходила ему в голову с такой ужасной ясностью. Когда рассветет - его заметят и, если он ближе к немцам, чем к своим, возьмут в плен, и он ничем не в состоянии будет помешать.

Он закрыл глаза и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, лежал еще пять, а может быть, десять минут. Потом, стиснув зубы, подтянул онемевшую руку до обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Опять стиснул зубы от боли, опять подтащил руку к телу, взял ею другой обломок и снова оттащил его в сторону.

Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но не стоило поднимать для этого руку. Она нужна была только для одного: брать кусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону, брать другой кусок, снова отодвигать, и так до конца - до смерти, до потери сознания, - он не знал, до каких пор, но чувствовал, что, пока в его теле сохранится хоть проблеск жизни, он будет делать одно и то же движение - брать обломок кирпича и

оттаскивать его в сторону.

Это была холодная дождливая ночь 12 октября – ровно тридцатая ночь с той первой, когда он со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этом берегу.

XIV

Стояла тишина. Ни шепот раненых, лежавших на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни звон аптечных пузырьков – ничто не могло нарушить ощущения тишины. Кругом было много белых простынь и халатов, и самая тишина казалась Сабурову белой.

Тишина длилась уже восемь дней, казалось, ей не будет конца и никто не может ее нарушить. За окнами падал и таял мокрый первый снег, и он тоже был, как тишина, белый.

Тело продолжало еще болеть, но оно тоже болело тихо – не скрежещущей, острой болью, как рваная рана, а тихой, щемящей. Кругом него, в сущности, было не так уж тихо: приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал, но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.

Его лечили, кормили, обмывали, но, в сущности, он был только одним из многих, и никто им тут особенно не интересовался. Он был привезен сюда с того берега весь в синяках и кровоподтеках. Теперь он выздоравливал. Это было записано в истории его болезни. Но как все произошло, как его спасли, как он остался жив, как он очутился на этом берегу, никто не знал. Одни санитары передали его с рук на руки другим, эти другие принесли его сюда, и только он спросил врача, как он тут оказался, тот только развел руками:

- Вернетесь в часть, узнаете. Ничего не могу вам сказать.

Напрасно Сабуров силился вспомнить, как все произошло. Он помнил только, как начал откладывать в сторону обломки кирпичей, а дальше ничего не помнил.

Тишина была, пожалуй, лучшим лекарством, которое требовалось сейчас Сабурову. И хотя он чувствовал себя все лучше и лучше, ему все еще ничем не хотелось нарушать этой тишины, среди которой было так спокойно и хорошо. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что ему приятно было молчать, и он прослыл самым молчаливым среди больных в палате. Он лежал и молчал. Ему не хотелось говорить.

И даже на восьмой день, утром, когда в их палату своей легкой, неслышной походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему не захотелось говорить. Он смотрел на ее милое, усталое лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, смотрел в ее глаза, так глядевшие на него, как будто она все время прямо, прямо шла к нему целую тысячу верст, – и ему не хотелось говорить. Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг, сразу и обо всем. Прежде всего она рассказала о том, как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за ним и нашел его лежавшим без сознания на полдороге между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Петров и Юсупов.

И все же Сабуров не вспомнил, как он полз, даже сейчас, когда Аня рассказала ему это. Значит, он все-таки стащил с себя обломки и пополз. Как странно, что он ничего не помнит.

Потом Аня рассказала, как его принесли в батальон и как она увидела его на носилках и подошла к нему.

Сейчас, рассказывая об этом, она посмотрела на него таким прямым взглядом, каким смотрят, когда уже ничего не выбирают и ничего не боятся.

- Я увидела, как вы лежите. И мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать. Потом вы открыли глаза и сразу же закрыли. И я вас еще поцеловала, но вы уже не открывали больше глаза.

Потом Аня рассказала, как она вместе с санитарями несла его к берегу и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти светло.

- Совсем как тогда стреляли. Помните? - спросила она.

- Помню.

- И я очень боялась, - сказала она. - Когда переправились, я сказала санитарам, чтобы они вас доставили непременно сюда, боялась, что вы куда-нибудь еще попадете и я вас уже не найду.

- Почему вас так долго не было? - спросил Сабуров.

- Я не могла, - произнесла она виноватым тоном. - Я переправилась обратно и думала, что на следующую ночь буду здесь, но переправу разбили. А потом там набралось столько раненых, что, пока их всех не переправили, меня оставили с ними там. Целых шесть дней. А вы лучше себя чувствуете?

- Да, - подтвердил Сабуров. - Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить.

Они помолчали. Потом она сказала:

- Вы знаете, мама тоже здесь...

- Вы мне говорили тогда еще... - как о чем-то очень далеком, сказал Сабуров. - Здесь, в этой деревне?

- Да. Мама хотела тоже прийти сюда, но я пошла одна. Я все сказала ей о вас.

Она сказала это «все» так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.

- А у меня, - сообщила Аня, - теперь тоже орден.

- Ну? - улыбнулся Сабуров. - Где же он? Уже выдали?

- Да.

- Покажите.

Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красной Звезды, только не запыленный, с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новенький, блестящий.

Аня, скосив глаза, тоже посмотрела на орден. У нее был очень довольный вид. Сабуров улыбнулся. Она увидела его улыбку и тоже улыбнулась.

Он приподнялся на подушке на локтях.

- Милый, - сказала Аня, дотянувшись до его плеч обеими руками. - Милый, - повторила она.

Он снял ее руку со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не отняла и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом.

- Если бы не война...

Он хотел сказать, что если бы не война, то он сейчас же увез бы ее далеко отсюда и никогда бы больше не отпустил.

- Если бы не война, мы не встретились бы, да? Ведь да? - настойчиво повторила она, словно боясь, что он будет спорить.

- Да, - согласился он. - Я это и хотел тебе сказать.

Он первый раз сказал ей «ты».

- Я знаю, что я сделаю, - сказала Аня, по-прежнему не отрывая от него взгляда. - Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас... - она запнулась. Она слышала, как он вместо «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась. - Я вас отсюда возьму, - сказала она.

- Я знаю, что я сделаю, - сказала Аня, по-прежнему не отрывая от него взгляда. - Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас... - она запнулась. Она слышала, как он вместо «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась. - Я вас отсюда возьму, - сказала она.

- Возьмешь? Куда?

- К маме. Вы будете дальше лечиться у мамы... у нас, - поправилась она. - Вам уже, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда, а с утра ухаживать за вами.

- А когда же ты будешь спать? - улыбнулся Сабуров.

- Потом, когда вы выздоровеете.

Она соскочила с койки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро и коротко поцеловала его в губы и выбежала.

Сабуров, ожидая услышать какое-нибудь замечание или увидеть насмешку на лицах людей, лежавших с ним в одной палате, выжидающе огляделся по сторонам. Но никто не заговорил и не усмехнулся.

Сабуров закрыл глаза, ему казалось, что так, с закрытыми глазами, ему легче будет дожидаться возвращения Ани.

А она в это время стояла в том же здании школы в маленькой комнате нижнего этажа перед главным врачом.

Главный врач принадлежал к распространенной среди хирургов категории циников. Он был плотный, с румяным лицом и словно нарисованными черными усами и бровями. Хороший хирург, спасший на своем веку немало людей, он тем не менее считал своим долгом говорить, что относится к медицине скептически, делал операции с подчеркнутым хладнокровием, говорил об ампутированных руках и ногах с усмешкой и любил отпускать двусмысленные шутки, не стесняясь присутствия женщин. Аня это знала, и главный врач представлялся ей человеком меньше всего способным выслушать и понять то, что она ему хотела сказать.

Поэтому, войдя к нему, она вся напряглась и сжалась в комок, с твердой решимостью все равно сказать то, что она хотела, и не дать ему обидеть ни себя, ни Сабурова, ни, больше всего, то новое, что вошло и наполнило ее жизнь радостью.

- Товарищ военврач, у меня к вам просьба.

- Надеюсь, вам ничего не нужно ампутировать, - сказал он с привычной улыбкой. - Все обращаемые ко мне просьбы обычно ограничиваются этим.

- Нет, - ответила она. - Здесь лежит... один капитан, капитан Сабуров...

- Сабуров? Ага, помню. С ушибами. Ну?

- Он выздоравливающий.

- Совершенно верно. Очень приятно. Так что же из этого?

- У меня здесь мама живет в деревне...

- Тоже очень приятно. Но какое отношение имеет одно к другому?

- Я прошу, - продолжала Аня, подняв на него глаза, - я хочу, пока он выздоравливающий, взять его к нам.

У нее были такие ясные, обрекающие на молчание глаза, что главный врач, у которого с языка уже готова была сорваться неопрятная шутка, промолчал.

- Я его хочу взять к нам. Я вас очень прошу...

- Зачем? - уже серьезно спросил он.

- Ему там будет лучше.

- Почему?

- Ему там будет лучше, - упрямо повторила Аня. - Я знаю, ему там будет лучше. Я вас очень прошу.

- Он что, ваш родственник?

- Нет, но... мне это очень нужно. Я должна быть с ним вместе, - отчаянно сказала она, решившись с этой минуты на любые слова, к каким бы он ее ни вынудил, и на любые признания, даже ложные.

Главный врач считал в порядке вещей то, что у его сестер и санитарок бывали романы с выздоравливающими, и не преследовал их, присвоив себе лишь право беззлбно, но грубовато

шутить над этими маленькими тайнами. Но с такой откровенной, бесстрашной просьбой к нему обращались впервые.

Он растерялся от неожиданности и от взгляда Ани, смотревшей на него с такой свирепой надеждой, что он почувствовал себя почти как за операционным столом во время трудной операции.

Он должен был решать судьбу чужой жизни – это было ясно. Здесь нельзя было отвечать: «Посмотрим, как он себя чувствует», или: «Это не положено по правилам», или: «Надо подумать», – и, к чести его, ему не пришло в голову сказать ни одной из этих фраз. Ему оставалось сказать только «да» или «нет», и он сказал:

- Да, хорошо.

Разговор оказался неожиданно коротким. Ни он, ни Аня не знали, что говорить дальше, особенно Аня, приготовившаяся к отпору. Она полминуты растерянно постояла против него и, даже не поблагодарив, вышла.

Через час Сабурова в маленьком докторском «газике» перевезли на другой конец деревни – на выселки, в один из стоявших у самой воды домиков. Ниже домика протекала вода – спокойная, медленная и зеленая. Это был один из бесчисленных рукавов волжской Ахтубы. От воды к дому маленькой аллейкой поднималось несколько низкорослых ив. И вода, и оголенные деревья, и вросший в землю маленький домик показались Сабурову почти такими же тихими, как госпиталь.

В комнате, разгороженной на две половины – чистую и черную, – тоже было тихо. Тихо посторонился у дверей встретившийся им мальчик, тихо сидели за столом две покрытые черными платками немолодые женщины – хозяйка избы и мать Ани. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины неизменно оставалось у Сабурова все десять дней, которые он здесь прожил.

Когда он вошел в избу, поддерживаемый под руки Аней и санитаром, хозяйка, степенно поклонившись ему, сказала: «Милости просим», а мать Ани сначала всплеснула руками, потом сказала: «Господи!», потом: «Ой, до чего же вы переменились!» – и только после этого: «Здравствуйте».

Санитар посадил Сабурова на широкую крестьянскую лавку у стола и остановился в сомнении.

- Ничего, – сказал Сабуров, – дальше сам пойду. Спасибо.

Санитар вышел. За ним на свою половину ушла хозяйка.

Аня подошла к большой кровати, стоявшей у русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяло и стала взбивать подушки, то есть сделала то, что санитарки каждый день делали в госпитале, но Сабурову казалось, что все это у нее выходит как-то особенно хорошо. Он любовался ею, и ему было почти жаль, когда она сказала:

- Ну, вот и готово.

- Сейчас я перейду, подожди, – сказал он.

Мать Ани сидела тут же, за столом, и по тому, как она на него смотрела, он понимал, что с дочерью был уже разговор о нем. Мать Ани выглядела сейчас совсем не так, как тогда в

Эльтоне. Казалось, она уже все пережила и все измерила в своей душе и теперь только ждала, когда все это кончится.

- Да, здесь лучше, чем в Эльтоне, - сказал Сабуров после молчания.

- Лучше, - подтвердила она. - Мы тогда без памяти были. Я родню - и то забыла. Так до самого Эльтона и промахнула. А ведь тут у меня золовка. Конечно, хорошо. Разве сравнишь? Кабы под эту крышу да всю семью. Похудели как, - добавила она, поглядев в лицо Сабурову, и сразу перевела взгляд на Аню, молча сидевшую против него за столом.

И Сабуров понял, что мать этим взглядом прикидывает, как они будут вместе: он и Аня - такая молодая.

- Все ездит она, - сказала мать и кивнула в сторону Ани. - Все ездит, все ездит, по пять раз на дню. И когда только это кончится?

Она встала, подвязала углы платка и пошла к дверям.

- Мама, мама, подожди! - кинулась к ней Аня. - Помоги Алексея Ивановича уложить.

- Да я сам, - попробовал возразить Сабуров.

Он хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать - с другой, и он, опираясь на их плечи, доковылял до кровати. Ноги еще страшно ныли и подламывались. Когда он вытянулся на кровати, ему пришлось вытереть со лба испарину.

Мать вышла. Аня пододвинула скамейку и села рядом с ним.

- Ну? - сказал он.

- Хорошо? - ответила Аня вопросом на вопрос.

Сабуров протянул ей руку, она взяла ее в свои и долго сидела, глядя на него, чуть-чуть раскачиваясь на скамейке, то ближе к нему, то дальше от него. Вдруг она испуганно остановилась.

- А руку совсем не больно?

- Нет, совсем не больно.

И она снова начала раскачиваться, пытливо глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. Вот он лежал здесь, в ее доме, и пусть дом был на самом деле не ее, и завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а скоро и ему, но сейчас она держала его за руку и смотрела на него, и все это было так неожиданно и хорошо, что у нее навернулись слезы.

- Что ты? - спросил он.

Не отпуская его руки, она вытерла глаза о его плечо.

- Ничего. Просто я очень рада.

Она отодвинула скамейку, пересела на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала. Она плакала долго, поднимала заплаканное лицо, улыбалась и снова утыкалась ему в грудь. Она

плакала, вспоминая переправы через Волгу, и то, как ее ранили, и как ей было больно, и как он поцеловал ее тогда, и как она волновалась, и как долго она его не видела, и какой он страшный был, когда его нашли, и как потом шесть дней она не могла попасть к нему.

Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами. Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он сделал движение, чтобы отстраниться, но Аня, наоборот, только крепче прижалась к нему. Потом она подняла голову, посмотрела на мать и снова еще крепче прижалась к нему. И тогда его осенило чувство, которое потом уже не исчезало, – что это навеки.

Весь день прошел как во сне. Мать Ани входила и выходила, всем видом своим стараясь показать, что дети могут не стесняться ее присутствия. Сабуров так и видел на ее губах это слово «дети», и ему было странно, что оно может быть отнесено к нему какой-то другой женщиной, кроме его матери.

Аня, как он ее ни удерживал, перед обедом убежала, принесла аптечный пузырек со спиртом и, щурясь, осторожно переливала из него спирт в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи – как она вбегала и выбегала, как разбавляла спирт, как щурилась – были бесконечно милы Сабурову. Потом, когда к его кровати придвинули стол, Аня побежала за хозяйкой избы и притащила ее. Та на минуту церемонно чокнулась с Сабуровым и чинно выпила, не поморщившись, – так, как обычно пьют пожилые деревенские женщины. Потом она ушла.

Аня за обедом, сидя рядом с матерью, быстро рассказала Сабурову, как они раньше жили, о себе, об отце, о братьях – словом, все то, что лихорадочно говорится вдруг, разом и только очень любимому человеку. А он полулежал, опираясь на здоровую руку, слушал ее и думал о том, что придет время и она уже не будет ходить в кирзовых сапогах и не будет таскать носилок и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Разве он мог знать – куда? Он знал только, что, наверное, это будет очень хорошо. О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, Сабуров думал вскользь; ему казалось, что все это как-то устроится. Может быть, даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе, в его батальоне, надо только сказать Проценко. Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверное, приехал бы на свадьбу. «Свадьба»... Сабуров улыбнулся.

– Что ты улыбаешься? – спросила Аня, все еще запинаясь на слове «ты».

– Так, одной мысли.

– Какой?

– Потом скажу. Ты не сердись. Хорошо?

– Хорошо.

Он подумал «свадьба» и вспомнил свой блиндаж и представил себе, как, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого он бы мог позвать в такой день: Масленников, Ванин, Петя, может быть, Потапов... Представил себе и подумал, цел ли блиндаж и как они там все без него.

Когда кончили обедать и мать стала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровати. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они стали есть его вдвоем, поочередно откусывая и стараясь побольше оставить другому.

Потом Аня вдруг вскочила:

- Мама, погадай!

Мать отнекивалась.

- Нет, погадай.

Стол, который был уже отодвинут от кровати, опять придвинули, и мать, сказав, что она уже давно не гадала, да и что же гадать, раз они все равно люди неверящие, все-таки разложила карты.

Сабуров никогда не понимал, почему черная шестерка означает длинную дорогу, а трефовый туз - казенный дом и почему, если пиковая дама ложится к черной десятке, то это не к добру, а если выходят четыре валета, то это к счастью, но ему всегда нравилась уверенность, с которой гадающие объясняют значение разложенных карт.

Аня внимательно следила за руками матери, раскладывавшей карты. И так как ей в этот день казалось ясным все ее будущее, она легко находила объяснения всему, что говорила мать. Дальняя дорога была переправой через Волгу, а казенный дом - сабуровским блиндажом. Когда же мать выложила крестовую даму, которая в сочетании с бубновым королем означала, что у Сабурова есть крестовый интерес, то, хотя по всем правилам Аня была не крестовая, а червонная дама, она все равно, смеясь, сказала, что крестовая дама - это, безусловно, она, потому что она медичка с крестом.

Наконец матери надоело гадать, она собрала карты, завесила окна мешками и вышла.

Сабуров, утомленный долгим сидением, откинулся на подушку и лежал неподвижно. Аня взяла полушубок, подушку и стала стелить себе на лавке, у стены. Сабуров молча наблюдал за ней. Мать заглянула еще раз по хозяйственным надобностям и совсем ушла. Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, приникла к нему, послушала сердце и шепотом сказала: «Стучит», как будто в этом было что-то особенное. Но особенное было в тишине, стоявшей вокруг, в том, что мать ушла, а они остались, и главное, в том, что им предстояло долго быть вместе.

Аня стояла на коленях и целовала его. Она не стыдилась его и он чувствовал, что она полюбила в первый раз и любовь эта такая большая, что в ней тонет все остальное - и чувство страха, и чувство стыда, и смятение. Она поднялась с коленей и села рядом с ним, потом обняла его. Он тоже крепко обнял ее и почувствовал, как у него болят руки и грудь оттого, что он крепко обнял ее, но ему было радостно: от этой боли, которую он испытывал, он чувствовал ее еще ближе к себе.

XV

Он проснулся утром от шума самовара, и было странно, что он видит эту же комнату и что так же мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться.

Аня вбежала из сеней, откуда до этого слышался плеск воды.

- Ты проснулся? - спросила она. - Я сейчас.

Она выжала свои длинные мокрые волосы, накручивая их на кулаки, совсем как тогда, на пароходе, когда он увидел ее в первый раз.

Потом она снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и вспомнил все подряд, минута за минутой, со вчерашнего утра – и утро, и день, и ночь. Кроме слов о любви, которые были ему сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то подсознательное чувство, с которым она ночью касалась его избитого, больного тела. Никто не мог бы ей этого сказать, ни один врач, но она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя. В самих ее руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, не мог прийти в себя.

В четыре часа дня Аня должна была уходить. Она натянула сапоги, надела шинель, аккуратно заштопанную в трех местах, где ее пробил осколками мины, надвинула на голову пилотку и, быстрым шагом подойдя к постели, решительно и крепко один раз поцеловала Сабурова и так же решительно вышла.

Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. За войну он привык, казалось бы, к самому страшному – к тому, что люди, здоровые, только что разговаривавшие и шутившие с ним, через десять минут переставали существовать. Но то, что творилось с ним сейчас, не имело ничего общего с этим привычным. Впервые в жизни он испытывал в этот день и в эту ночь трепет ожидания, тревогу, суеверный страх, что вот именно сейчас, когда, кажется, все так хорошо, с нею что-нибудь случится. Он вспоминал тысячи опасных вещей, которых он обычно не замечал. Он вспоминал переправу и берег, на котором рвутся мины, и ходы сообщения, такие мелкие, что если в них не нагибаться, то всегда видна голова, а она, наверное, не нагибается. Он рассчитывал по часам, когда примерно она будет на берегу, когда пойдет баржа, сколько времени займут переправа и выгрузка, сколько времени понадобится, чтобы добраться до батальона, сколько нужно для того, чтобы положить на носилки раненых, сколько займет дорога обратно. Но все эти праздные вычисления (праздные, ибо он лучше, чем кто бы то ни было, знал, как нельзя на войне угадать, что и сколько займет времени) не успокаивали его.

До Сталинграда отсюда было километров восемнадцать. Всю ночь он слышал то удаляющуюся, то приближавшуюся канонаду. Она была как неумолчный стук часов, ею отмеривалось время. И хотя он знал, что канонада то слышнее, то глуше из-за ветра, это не помогало ему освободиться от тревоги. Когда канонада становилась громче, ему было тревожнее, как будто грохот ее мог быть действительно мерилем опасности для Ани.

Мать Ани вечером долго строчила на швейной машине в другой половине избы. Потом она вошла с огарком, поставила его на стол и взглянула на Сабурова.

- Не спите? – спросила она.

- Нет, не сплю.

- Я тоже первое время, когда она уходила, не спала, а теперь сплю. Ведь у меня все на фронте, и если за всех не спать, то умрешь в неделю. А у вас есть родные-то?

- Есть. Мать.

- Где?

- Там.

Сабуров сделал тот жест рукой, который делали многие и по которому все сразу понимали, что там – значит у немцев.

- А здесь кто?

- Никого. Одна она... Что вы шили?

- Я-то? Да тут золовка ситчику дала, я и шью Аньке. Девчонка ведь все-таки. Платье захочет надеть хоть раз в месяц, вот и шью. А на ноги все равно ничего нет. Или эти ей отдать?

Она села на стул, положила ногу на ногу и задумчиво посмотрела на свои старые, стоптанные, на низких каблуках туфли. Потом подняла голову на Сабурова и, должно быть вспомнив их встречу, сказала:

- Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньше была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное, ей туфли впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, словно Сабуров знал о ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном, может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

- Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньше была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное, ей туфли впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, словно Сабуров знал о ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном, может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

Не отвечая прямо, Сабуров сказал:

- Я встану, и мы свадьбу сыграем, – и сам улыбнулся этому слову. – Вы не обидитесь на то, что мы там сыграем свадьбу?

- На той стороне? – спросила она просто.

- Да.

- Где вам жить, там и делайте, – произнесла она примирительно.

«Та сторона» была для нее Сталинградом, городом, в котором она жила и полной истины о котором, какие бы слухи ни доходили оттуда, она все же, в силу привычки, не могла себе представить.

- Главное, чтобы переправы этой не было по три раза на дню, – продолжала она. – Пусть уже лучше там, с вами.

Она еще долго сидела с Сабуровым и разговаривала о том, о чем любят говорить матери с мужьями своих дочерей, – как Аня росла, как болела скарлатиной и корью, как она отрезала себе косы и потом опять отпустила, как мать за ней ходила всю жизнь, потому что дочь-то ведь одна, и о многих иных мелочах, о которых ей было приятно рассказывать.

Сабуров слушал ее, и ему было и радостно и грустно – радостно оттого, что он узнавал эти милые подробности, и грустно потому, что он всего этого не видел сам, а ему, как и всем сильно любящим людям, хотелось быть свидетелем всех ее поступков, всего, что у нее было в жизни до него.

Мать разговаривала с ним, и он чувствовал, что сейчас он был не сильнее, а слабее этой старой женщины, сидевшей против него. Она умела лучше ждать и быть спокойнее, чем он. И даже, пожалуй, она нарочно успокаивает его этим разговором.

Наконец она ушла. Сабуров не спал всю ночь, и лишь часов в одиннадцать утра, когда солнце заглянуло в окна и желтой полосой легло на кровать, он неожиданно для себя задремал. Он проснулся так же, как когда-то в блиндаже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно:

- Лежи, милый, лежи. Как ты спал?

Ему было стыдно за эти пятнадцать минут, которые он подремал, не дождавшись ее, но говорить, что он не спал всю ночь, он не хотел, - это, наверное, огорчило бы ее больше, чем обрадовало.

- Ничего спал, - сказал он. - Ну как там?

- Хорошо, - ответила Аня. - Очень хорошо.

Она говорила весело, но на ее оживленном лице лежали следы усталости, а веки были опущены, как у человека, который так долго не спал, что может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы: было двенадцать, а в четыре ей снова уходить.

- Сейчас же ложись спать, - сказал он.

- А поговорить? - улыбнулась она. - Я ехала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала. Я столько еще тебе не сказала.

Она наскоро выпила чашку чаю, прилегла рядом с ним и через минуту заснула на середине недосказанного слова. Он лежал на спине, подложив руку под ее голову, и ему казалось, что случилось невозможное - время остановилось.

Это ощущение остановившегося времени продолжалось у него все десять дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он заставлял себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Все равно он не мог там быть сейчас, и что пользы было ежеминутно думать об этом. Оставалось только то, с чем ничего нельзя было поделать, - всевозраставшее ощущение огромности происходившей там, в Сталинграде, битвы. И чем дольше он отсутствовал, тем больше нарастало это ощущение. Он только здесь до конца понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

Вести доходили до него то через Аню, то через хозяйку, то через заходивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были нерадостны. Он удерживал себя от того, чтобы расспросить Аню подробней. Он не хотел отсюда, издали, узнавать эти подробности, откладывал все сразу до того дня, когда поедет туда сам. Но когда Аня появлялась, по ее глазам, по походке, по усталости он молча делал свои собственные заключения о том, что там происходило в этот день.

Однажды - это было на седьмые сутки часа через три после того, как Аня ушла, - он услышал, как на крыльце кто-то называет его фамилию, потом слышались быстрые шаги и в комнату вошел Масленников.

- Алексей Иванович, дорогой! - торопливо закричал Масленников с порога, подбежал к нему, обнял, расцеловал, снял шинель, подвинул скамейку, сел против него, вытащил папиросу, предложил ему, чиркнул спичкой, закурил - все это быстро, в полминуты - и, наконец, уставился на него своими ласковыми черными глазами.

- Ты что же батальон бросил, а? - улыбнулся Сабуров.

- Проценко приказал, - сказал Масленников. - Пришел в полк, потом в батальон и приказал мне на ночь к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?

- Ничего, - сказал Сабуров и, встретив взгляд Масленникова, спросил: - Что, сильно похудел?

- Похудели.

Масленников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил пачку печенья, пакет с сахаром, три банки консервов, быстро положил все это на стол и опять сел.

- Подкармливаешь начальство?

- У нас много всего сейчас. Снабжают хорошо.

- А по дороге топят?

- Иногда топят. Все как при вас, Алексей Иванович.

- Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?

- Какие же? Все так же, как при вас, - сказал Масленников. Ему хотелось рассказать, что и он и вообще все ждут Сабурова, но, поглядев на похудевшее лицо капитана, он удержался.

- Как, ждете меня? - спросил сам Сабуров.

- Ждем.

- Дня через три приду.

- А не рано?

- Нет, как раз, - спокойно сказал Сабуров. - Где вы сейчас? Все там же?

- Все там же, - подтвердил Масленников. - Только левее нас они совсем к берегу подошли, так что проход до полка теперь узкий, только ночью ходим.

- Ну что ж, придется до вас ночью добираться. Ночью приду с ревизией. Как Ванин воюет?

- Хорошо. Мы с ним Конюкова командиром взвода назначили.

- Справляется?

- Ничего.

- Кто жив, кто нет?

- Почти все живы. Раненых только много. Гордиенко ранили.

- Сюда привезли?

- Нет, остался там. Его легко. А меня все не ранят и не ранят, - оживленно закончил Масленников. - Я иногда даже думаю, наверное, меня или так никогда и не ранят, или уж сразу убьют.

- А ты не думай, - сказал Сабуров. - Ты раз навсегда подумай, что это вполне возможно, а потом уже каждый день не думай.

- Я так и стараюсь.

Они целый час проговорили о батальоне, о том, кто где расположен, что переместилось и что осталось по-прежнему.

- Как блиндаж? - спросил Сабуров. - Все на том же месте?

- На том же, - ответил Масленников.

Сабурову было приятно, что его блиндаж все там же, на старом месте. В этом была какая-то незыблемость, и, кроме того, он подумал об Ане.

- Слушай, Миша, - неожиданно обратился он к Масленникову. - Не удивился, что я не в госпитале, а здесь?

- Нет. Мне сказали.

- Что тебе сказали?

- Все.

- Да... Я очень счастлив... - помолчав, сказал Сабуров. - Очень, очень. А помнишь, как она сидела на барже и волосы выжимала, а я сказал тебе, чтобы ее накрыли шинелью? Помнишь?

- Помню.

- А потом мы пошли, а ее уже не было.

- Нет, этого не помню.

- Ну а я помню. Я все помню... Я тут думал попросить, чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце защемило.

- Почему?

- Не знаю. Боюсь испытывать судьбу. Вот так она ездит каждый день и цела, а там... не знаю. Страшно самому что-то менять.

Сабурову хотелось продолжать говорить об Ане, но он удержался, оборвал разговор и спросил:

- А Проценко как?

- Ничего, веселый. Смеется даже чаще, чем всегда.

- Это плохо, - сказал Сабуров. - Значит, нервничает. Да, главного-то и не спросил. Кто

командир полка?

- Совсем новый, майор Попов.

- Ну как?

- Ничего. Лучше Бабченко.

Они поговорили еще минут десять, и Масленников вдруг заторопился; мысленно он был уже там, на той стороне.

- Буду через три дня к вечеру, - сказал Сабуров. - Ну иди, иди, не мнись. Передай всем привет. Она сегодня в дивизию поехала. Может, и у вас в батальоне будет.

- Что передать, если будет?

- Ничего. Чаем напои, а то сама не догадается. Иди. Не прощаюсь.

Через два дня после прихода Масленникова Сабуров попробовал проходить целый час подряд. Ноги ныли и подламывались. Чувствуя головокружение, он немного посидел у калитки, прислушиваясь к далекому артиллерийскому гулу.

Аня с каждым днем приезжала все позднее и уезжала все раньше. По ее усталому лицу он видел, как было ей трудно, но они не говорили об этом. К чему?

Врач, по просьбе Ани забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением пощупал ноги у коленей и лодыжек, глядя ему в лицо и спрашивая, больно ли. Хотя на самом деле было больно, но Сабуров к этому приготовился и сказал, что не больно. Потом спросил, когда завтра уходят грузовики к переправе. Врач сказал, что, как обычно, в пять вечера.

- Удирать от нас собираетесь?

- Да, - ответил Сабуров.

Врач не удивился и не стал спорить: он привык - здесь, под Сталинградом, это было в порядке вещей.

- Грузовики уходят в пять часов. Но все-таки помните, что вы еще не совсем здоровы, - сказал врач, вставая и протягивая Сабурову руку.

Сабурову захотелось созорничать: задержав руку врача в своей, он пожал ее не изо всей силы, но все-таки достаточно крепко.

- Ну вас к черту! - рассмеялся врач. - Я же говорю, поезжайте. Что вы мне доказываете? - И, потирая пальцы, пошел к двери.

Когда Аня приехала, Сабуров сказал, что завтра он возвращается в Сталинград. Аня промолчала. Она не спорила - и не просила его остаться еще на день. Все эти слова были бы лишними.

- Только вместе, - сказала она. - Хорошо?

- Я так и думал.

В этот день она была тиха и задумчива и хотя очень устала, но ее не клонило ко сну. Она молча сидела рядом с Сабуровым, гладила его по волосам и внимательно рассматривала его лицо, словно старалась лучше запомнить.

Она так и не заснула, а он задремал на полчаса, и она его разбудила, когда ей нужно было уходить, еще раз грустно погладила его по волосам и сказала: «Пора мне». Он встал, проводил ее до ворот и долго смотрел, как она торопливо шла по улице.

Утром Сабуров сложил вещевой мешок. Ани не было особенно долго. Он несколько раз выходил на дорогу, а она все не шла. Было уже два часа – ее не было, потом три, потом четыре... В половине пятого он должен был отправляться, чтобы не опоздать на попутный санитарный грузовик. Он вышел еще раз на дорогу, постоял, вернулся в избу и, присев к столу, написал короткую записку: что едет, не дождавшись ее.

Потом простился с матерью Ани. Она приняла его отъезд спокойно. Наверное, это спокойствие было их семейной чертой.

- Не дождетесь?

- Нет, уже время вышло.

Она обняла его и поцеловала в щеку. Только в этом и выразилась вся ее тревога и за дочь, и за него.

Без десяти пять, взглядываясь в каждого встречного, он пошел по направлению к госпиталю. Накануне мальчишки срезали ему толстую вишневую палку, и он шел, прихрамывая и тяжело опираясь на нее.

Грузовики двинулись в начале шестого. Его хотели посадить с шофером в кабину, но он сел в кузов, надеясь, что оттуда скорее увидит Аню, если она встретится по дороге. Он ехал, лежа в кузове, и выглядывал с левого борта, рассматривая встречные машины. Но Ани на них не было. К вечеру стало холодно; он надвинул поглубже фуражку и поднял воротник шинели.

Через три километра они свернули на главную магистраль, шедшую из Эльтона к переправам. Дорога была в ухабах, и грузовик сильно трясло. Ноги больно ударялись о днище кузова. Над головой шли последние, вечерние, воздушные бои. В воздухе было так же тяжело, как и на земле. Пока Сабуров ехал, немцы два раза бомбили колонну. К переправе шли грузовики, доверху набитые снарядами ящиками, коровьими тушами и мешками.

В прибрежной слободе прямо на улице лежали еще дымившиеся обломки «мессершмитта». Обогнув их, грузовик выехал к переправе. Немцы вели по слободе редкий, но методичный огонь из тяжелых минометов. Внешне все было, как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга так же стремилась свои воды, но они были скованные, тяжелые, чувствовалось, что не сегодня-завтра пойдет сало.

Когда, оставив грузовики, спустились пешком к переправе, Сабуров подумал, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на холодный песок и, перестав оглядываться по сторонам, закурил.

К пристани привалил пароходик с баржей. Невдалеке разорвалось несколько мин. С пароходика и баржи вереницей тащили носилки. Сабуров безучастно сидел и ждал. С

разгрузкой и погрузкой торопились, но кругом стояло меньше шума, чем когда он переплывал в первый раз. «Привыкли», – подумал он. Все кругом делалось быстро и привычно. И город на той стороне, когда он посмотрел на него, показался ему тоже привычным.

Предъявив документ коменданту переправы, он уже двинулся на полуразбитую баржу, служившую пристанью. В эту минуту его окликнула Аня.

- Я так и знала, что ты не будешь меня там ждать, что все равно уедешь.

- Хорошо хоть здесь встретились. Я уже не надеялся.

- А я приехала еще с той баржей и размещала раненых. Сейчас вместе переправимся.

Они перешли по шатким сходням на баржу, а с нее перелезли на пароходик. Аня перескочила первая и подала Сабурову руку. Он принял ее руку и тоже перескочил с неожиданной для себя легкостью. Нет, он был прав, что поехал: он был почти здоров.

Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги. Внизу тяжело колыхалась Волга.

- Холоднее стало, – сказала Аня.

- Да.

Им обоим не хотелось говорить. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

Пароходик приближался к берегу. Все кругом было почти как тогда, в первый раз. Казалось, ничего не переменалось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего тогда не было ни у него, ни у нее: они оба знали это про себя и молчали.

Берег все приближался.

- Готовь чалку! – послышался хриплый бас, точно такой же, как и тогда, полтора месяца назад.

Пароходик причалил к разбитой в щепы пристани. Сабуров и Аня сошли одни из последних, и, хотя им до полка предстояло добираться вместе, Сабуров, сойдя на берег, притянул к себе Аню, погладил ее по волосам и поцеловал. Они пошли рядом. Пришлось взбираться вверх по темному, изрытому воронками откосу. Сабуров иногда оступался, но шел быстро, почти не отставая от Ани. Под ногами опять была земля Сталинграда – та же самая, холодная, твердая, не изменившаяся, не отданная немцам земля.

XVI

Стояли первые дни ноября. Снега выпало мало и от бесснежья ветер, свистевший среди развалин, был особенно леденящим. Летчикам с воздуха земля казалась пятнистой, черной с белым.

По Волге шло сало. Переправа стала почти невозможной. Все с нетерпением ждали, когда Волга наконец совсем станет. Хотя в армии сделали некоторые запасы провианта, патронов и снарядов, но немцы атаковали непрерывно и ожесточенно, и боеприпасы таяли с каждым часом.

От штаба армии теперь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко. Немцы

вышли к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. Сказать, что бои шли в Сталинграде, значило бы сказать слишком мало: почти повсюду бои шли у самого берега; редко где от Волги до немцев оставалось полтора километра, чаще это расстояние измерялось несколькими сотнями метров. Понятие какой бы то ни было безопасности исчезло: простреливалось все пространство, без исключения.

Многие кварталы были целиком снесены бомбежкой и методическим артиллерийским огнем с обеих сторон. Неизвестно, чего больше лежало теперь на этой земле - камня или металла, и только тот, кто знал, какие, в сущности, незначительные повреждения наносит большому дому один, даже тяжелый артиллерийский снаряд, мог понять, какое количество железа было обрушено на город.

На штабных картах пространство измерялось уже не километрами и не улицами, а домами. Бои шли за отдельные дома, и дома эти фигурировали не только в полковых и дивизионных сводках, но и в армейских, представляемых во фронт.

Телефонная связь штаба армии с отрезанными дивизиями шла с правого берега на левый и опять с левого на правый. Некоторые дивизии уже давно снабжались каждая сама по себе, со своих собственных, находившихся на левом берегу, пристаней.

Работники штаба армии уже два раза сами защищали свой штаб с оружием в руках, о штабах дивизий не приходилось и говорить.

Через четыре дня после того как Сабуров вернулся в батальон, Проценко вызвали в штаб армии.

Когда в ответ на вопрос, сколько у него людей, Проценко доложил, что полторы тысячи, и спросил, нельзя ли малость подкинуть, командующий, не дав ему договорить, сказал, что он, Проценко, пожалуй, самый богатый человек в Сталинграде и что если штабу армии до зарезу понадобятся люди, то их возьмут именно у него. Проценко, схитривший при подсчете и умолчавший о том, что он за последние дни наскреб с того берега еще сто своих тыловиков, больше не возвращался к этому вопросу.

После официальной части разговора командующий ушел, а член Военного совета Матвеев за ужином включил радиоприемник, и они долго слушали немецкое радио. К удивлению Проценко, Матвеев, никогда раньше не говоривший об этом, сносно знал немецкий язык, он переводил почти все, что передавали немцы.

- Чувствуешь, Александр Иванович, - говорил Матвеев, - какие они стали осторожные! Раньше, бывало, только еще ворвутся на окраину города - помню, так с Днепропетровском было - и уже кричат на весь мир: «Взяли». Или к Москве когда подходили, уже заранее заявляли: «Завтра парад». А теперь и на самом деле две трети заняли, а все же не говорят, что забрали Сталинград. И точных сроков не дают. А в чем, по-твоему, причина?

- В нас, - сказал Проценко.

- В нас, - сказал Проценко.

- Вот именно. И в тебе, в частности, и в твоей дивизии, хотя в ней сейчас на этом берегу всего тысяча шестьсот человек.

Проценко был неприятно поражен этой истинной цифрой и изобразил на лице деланное

удивление.

- Тысяча шестьсот, - повторил Матвеев. - Я уж при командующем не разоблачил тебя, что ты сто человек спрятал. Крик был бы.

Он рассмеялся, довольный, что поймал хитрого Проценко. Проценко тоже рассмеялся.

- Уже бояться объявлять сроки - отучили. Это хорошо... Сеня, - крикнул Матвеев адъютанту, - дай коньяку! Когда-то еще ко мне Проценко приедет. Как, по Волге-то сало пошло, а?

- Да, начинает густеть, - сказал Проценко. - Завтра, наверное, переправы совсем не будет.

- Это мы предвидели, - сказал Матвеев. - Только бы скорей стала Волга. Одна к ней, единственная теперь от всей России просьба.

- Может не послушать, - сказал Проценко.

- Послушает или не послушает, а нам с тобой все равно поблажки не будет. Придется стоять, где стоим, с тем, что имеем.

Матвеев налил коньяку себе и Проценко и, чокнувшись с ним, залпом выпил.

Проценко не был подавлен этим разговором, наоборот, он возвращался в дивизию, пожалуй, даже в хорошем настроении. То, что ему сегодня окончательно отказали в пополнении людьми, как это ни странно, вселило в его душу неожиданное спокойствие. До этого он каждый день с возраставшей тревогой подсчитывал потери и ждал, когда придет пополнение. Теперь на ближайшее время ждать было нечего: надо пока воевать с тем, что есть, и надеяться только на это. Ну что ж, по крайней мере, все ясно: именно те люди, которые уже переправились через Волгу и сидят сегодня вместе с ним на этом берегу, именно они и должны умереть, но не отдать за эти дни тех пяти кварталов, что достались на их долю. И хотя Проценко вполне отчетливо представил себе все последствия этого, вплоть до собственной гибели, но даже и об этом он подумал сейчас без содрогания. «Ну и что? Ну и убьют и меня, и многих других. Все равно у немцев ничего не выйдет».

- Ничего не выйдет! - повторил он вслух так громко, что шедший сзади него адъютант подскочил к нему:

- Что прикажете, товарищ генерал?

- Ничего не выйдет, - еще раз повторил Проценко. - Ничего у них не выйдет, понял?

- Так точно, - сказал адъютант.

Они сели в моторку. Она еле шла, лед царапал борта.

- Становится, - сказал Проценко.

- Да, сало идет, - ответил сидевший на руле красноармеец.

В этот предутренний час Сабуров вышел из блиндажа на воздух, подышать.

У входа в блиндаж сидел Петя. Людей в батальоне теперь так мало, что в последние дни он

выполнял обязанности и ординарца, и повара, и часового. Петя сделал движение, собираясь встать при виде капитана.

- Сиди, - сказал Сабуров и, прислонившись к бревнам, которыми был обшит вход в блиндаж, несколько минут стоял молча, прислушиваясь. Стреляли мало, только изредка, провизжав над головой, где-то далеко за спиной плюхалась в воду одинокая немецкая мина.

Петя поежился.

- Что, холодно?

- Есть немножко.

- Иди в блиндаж, погрейся. Я тут пока постою.

Оставшись один, Сабуров повернулся сначала налево, потом направо; его вдруг заново поразил, казалось бы, привычный ночной сталинградский пейзаж.

За те восемнадцать суток, что его не было здесь, да и за последние четыре дня Сталинград сильно изменился. Раньше все было загромождено пусть полуразбитыми, но все-таки домами. Сейчас тех трех домов, которые защищал батальон Сабурова, в сущности, уже не было: были только фундаменты, на которых кое-где сохранились остатки стен и нижние части оконных проемов. Слева и справа тянулись сплошные развалины. Кое-где торчали трубы. Остальное сейчас, ночью, сливалось в темноте в одну холмистую каменную равнину. Казалось, что дома ушли под землю и над ними насыпаны могильные холмы из кирпича.

Вернувшись в блиндаж, Сабуров, не раздеваясь, присел на койку и неожиданно заснул. Он проснулся и с удивлением обнаружил, что в блиндаж пробивает свет. Судя по времени, он проспал никак не меньше четырех часов. Очевидно, Ванин и Масленников, все еще считая его больным, ушли, решив не будить его.

Он прислушался - почти не стреляли. Ну что же, в конце концов, это естественно: должна же когда-нибудь, хоть на некоторое время, наступить тишина: Он еще раз прислушался: да, как ни странно, тихо.

Дверь открылась, и в блиндаж вошел Ванин.

- Проснулся?

- Что ж не разбудили?

- А зачем? Когда еще в другой раз тихо будет...

- Что, в ротах был?

- Да, в третью ходил.

- Ну как там, наверху? Никаких особых происшествий?

- Пока никаких. Как пишут газеты: «Бои в районе Сталинграда».

- Какие потери с вечера? - спросил Сабуров.

- Трое раненых.

- Много.
- Да. На прежнюю мерку немного, а сейчас много. Но из троих только одного в тыл отправляем, а двое остаются.
- А могут остаться?
- Как тебе сказать? В общем, не могут, а по нынешнему положению могут... Ты-то как сам - лучше себя чувствуешь?
- Лучше. Где Масленников?
- Ушел в первую роту.

Ванин горько усмехнулся:

- Все никак не можем привыкнуть, капитан, что батальон уже не батальон. Все называем: «роты», «взводы». Сами уже, все вместе взятые, давно ротой стали, а привыкнуть не можем.
- И не надо, - сказал Сабуров. - Когда привыкнем к тому, что мы не батальон, а рота, придется два дома из трех оставить. Батальоном их еще можно оборонять. А ротой - нет. Стоит представить себе, что мы - рота, и уже сил не хватит.
- И так не хватает.
- Ты, по-моему, в пессимизм ударился.
- Есть немного. Смотрю на этот бывший город, и душа болит. А что, нельзя? - Ванин улыбнулся.
- Нельзя, - сказал Сабуров, глядя в его печальные, несмотря на улыбку, глаза.
- Ну что ж, нельзя так нельзя... Мне Масленников сказал, ты вроде как жениться собрался, - добавил Ванин после паузы.

Ванин знал это еще до приезда Сабурова, но до сих пор не обмолвился ни словом.

- Да, - сказал Сабуров.
- А свадьба?
- Свадьба когда-нибудь.
- Когда?
- После войны.
- Не пойдет!
- Почему?
- А потому, что ты меня после войны на свадьбу не пригласишь.
- Приглашу.

- Нет. Это всегда на войне говорится: «Вот после войны встретимся». Не встретимся. А я на твоей свадьбе погулять хочу. Ты не знаешь, как я тут без тебя, черт, соскучился. И с чего бы это? Говорили с тобой пять раз в жизни, а соскучился. Так что давай не откладывай.

- Хорошо, - сказал Сабуров. - День вместе выберем?

- Вместе.

- И немцев не спросим?

- Нет, - тряхнул головой Ванин. - Что их спрашивать? Их спрашивать - до свадьбы не доживешь.

Он сказал это лихо, с вызовом, но глаза у него все равно по-прежнему были печальные. Он отвернулся и стал копаться в бумагах. Сабуров поудобнее уселся на койке, прислонился к стене и свернул самокрутку.

Слова Ванина заставляли снова думать об Ане. С тех пор как они расстались на берегу, он видел ее всего один раз. Уже через три или четыре часа своего пребывания здесь он понял, какого напряжения достигли бои. Все, о чем они с Аней думали, произойдет совсем не так, и их решение быть вместе не играет никакой роли в происходящем кругом. То, что ему казалось таким простым там, в медсанбате, - попросить Проценко, чтобы Аня была сестрой именно в его батальоне, - эта простая, казалось бы, просьба до такой степени была не ко времени сейчас, здесь, что у него не поворачивался язык заговорить об этом с Проценко.

Аня появилась лишь на третьи сутки, под вечер. Хотя у них и было пятнадцать минут на то, чтобы поговорить, они не сказали друг другу ни слова о решении, которое приняли на том берегу, и он был благодарен ей за то, что она не возобновила здесь этого разговора, потому что, как все мужчины, не любил ощущения собственной беспомощности.

Аня пришла, когда он вернулся после отражения очередной немецкой атаки и сидел у себя в блиндаже вдвоем с Масленниковым. Войдя в блиндаж, она быстро подошла к Сабурову и, не дав ему встать, крепко обняла его, несколько раз поцеловала прямо в губы сухими горячими губами, потом повернулась и, подойдя к Масленникову, поздоровалась за руку. По всем ее движениям, по ее взгляду Сабуров сразу понял, что она не возобновит того старого разговора, но что тем не менее она его жена и тем, как она пришла, она дает ему понять, что ничего не изменилось.

Масленников вышел. Ни Сабуров, ни Аня не удерживали его. Десять минут они просидели рядом на койке, обнявшись и откинувшись к стене. Им ни о чем не хотелось говорить - все, что бы они ни сказали, было неважно по сравнению с тем, что они все-таки среди всего окружающего сидели рядом. Он не спросил ее о том, куда она пойдет (он знал, что за ранеными), не сказал ей, сколько у него в батальоне сегодня раненых (она это узнает и без него), он даже не спросил, ела она или нет. Он чувствовал, что эти десять минут у них лишь для того, чтобы сидеть вот так и молчать. И когда Аня встала, он не удерживал ее.

Она поднялась, взяла его за обе руки, чуть-чуть потянула к себе, потом отпустила, опять крепко прижалась к нему губами и молча вышла.

Больше она не приходила. Вчера за ранеными пришла другая сестра и принесла Сабурову записку, нацарапанную карандашом на обрывке бумаги. Там стояло: «Я в полку у Ремизова. Аня». Сабурова не обидело то, что записка была такой короткой. Он понимал, что никакие

слова не могли выразить того, что теперь было между ними. Аня просто говорила этой запиской, что она жива. Она, наверное, и теперь, в эту минуту, была там, у Ремизова, всего в каких-нибудь пятистах коротких и непреодолимых шагах.

Целая серия снарядов одновременно рухнула над самым блиндажом, вслед за ней вторая и третья. Сабуров посмотрел на часы и усмехнулся: немцы, как всегда, пристрастны к точному времени. Они редко начинали с минутами, почти всегда в ноль-ноль. Так и сейчас. Залпы следовали один за другим.

Сабуров, не надевая шинели, вылез из блиндажа в ход сообщения.

- Ванин, опять начинается. Позвони в полк! - крикнул он, наклоняясь ко входу в блиндаж.

- Звоню! Связь прервана, - донесся до него голос Ванина.

- Петя, пошли связистов.

Петя выскочил из окопа и перебежал десять метров, отделявших его от блиндажа связистов. Оттуда выскочили два связиста и, быстро перебегая от развалин к развалинам, направились вдоль линии к штабу полка. Сабуров наблюдал за ними. Минуту они шли быстро, не прячась. Потом серия разрывов обрушилась неподалеку от них, и они легли, снова поднялись, снова легли и снова поднялись. Он еще несколько минут следил за ними, пока они не скрылись из виду за развалинами.

- Связь восстановлена! - крикнул из блиндажа Ванин.

- Что говорят? - спросил Сабуров, входя в блиндаж.

- Говорят, что по всему фронту дивизии огневой налет. Наверное, будет общая атака.

- Масленников в первой? - спросил Сабуров.

- Да.

- Ты оставайся тут, - сказал он Ванину, - а я пойду во вторую.

Ванин попробовал протестовать, но Сабуров, морщась от боли, уже натянул шинель и вышел.

То, что происходило после этого в течение четырех часов, Сабурову потом было бы даже трудно вспомнить во всех подробностях. На счастье, позиции батальона были так близко от немецких, что немцы не решались использовать авиацию. Но зато все остальное обрушилось на батальон.

Улицы были так загромождены обломками разрушенных зданий, что немецким танкам уже негде было пройти, но они все-таки подобрались почти к самым домам, где сидели люди Сабурова. Из-за стен с коротким шлепающим звуком били их 55-миллиметровые пушки.

Несколько раз за эти четыре часа Сабурова осыпало землей от близких разрывов. Опасность была настолько непрерывной, что чувство ее притупилось и у Сабурова и у солдат, которыми он командовал. Пожалуй, сказать, что в эти часы он ими командовал, было бы не совсем верно. Он был рядом с ними, а они и без команды делали все, что нужно. А нужно было лишь оставаться на месте и при малейшей возможности поднимать голову, - стрелять, без конца стрелять по ползущим, бегущим, перепрыгивающим через обломки немцам.

Сначала у Сабурова было ощущение, что бой движется прямо на него и все, что сыплется, валится, идет и бежит, направлено туда, где он стоит. Но потом он начал скорее чувствовать, чем понимать, что удар нацелен правее и немцы, очевидно, хотят сегодня наконец отрезать их полк от соседнего и выйти к Волге. На исходе четвертого часа боя это стало очевидно.

Уходя из второй роты на правый фланг, в первую, стоявшую в самом пекле, на стыке с соседним полком, Сабуров приказал перетащить вслед за собою батарею батальонных минометов.

- Последнее забираете, - развел руками командир второй роты Потапов, в голосе его дрожала обида.

- Где тяжелее, туда и беру.

- Сейчас там тяжелее, через час у меня.

- Не только о себе надо думать, Потапов.

В другое время он бы гораздо резче оборвал Потапова, но сейчас чувствовал, что тому действительно страшно остаться без этих минометов.

- Там на полк Ремизова жмут. Могут к Волге выйти. Надо им во фланг ударить. Прикажи, чтобы быстрее тянули.

Он посмотрел в лицо Потапову, удостоверился, что тот понял, и протянул ему руку:

- Держись. Ты и без минометов удержишься, я тебя знаю.

В первой роте, когда он пришел туда, творился суший ад. Масленников, потный, красный от возбуждения, несмотря на холод, без шинели, с расстегнутым воротом гимнастерки, сидел, прижавшись спиной к выступу стены, и, торопливо черпая ложкой, ел из банки мясные, покрытые застывшим жиром консервы. Рядом с ним на земле лежали двое бойцов и стоял ручной пулемет.

- Ложку капитану, - сказал он, увидев Сабурова. - Садитесь, Алексей Иванович. Кушайте.

Сабуров сел, зачерпнул несколько ложек и закусил хлебом.

- Что за пулемет? Зачем?

- Вон, видите, - показал Масленников вперед, туда, где метрах в сорока перед ними возвышался обломок стены с куском лестничной клетки и двумя окнами, обращенными в сторону немцев. - Приказал снять с позиции пулемет. Сейчас ползем туда втроем. Прямо из окошка будем бить. Оттуда все как на ладони.

- Сшибут, - сказал Сабуров.

- Не сшибут.

- Первом же снарядом сшибут, как заметят.

- Не сшибут, - упрямо повторил Масленников.

Он не хуже Сабурова знал, что должны сшибить, но именно оттого, что сшибить непременно

должны, а он все-таки полезет, у него было бессознательное чувство, что, вопреки всем вероятностям, его именно не сшибут и все выйдет очень хорошо.

- Справа весь седьмой корпус заняли, - сказал он. - На Ремизова жмут.

- В седьмом уже не стреляют? - спросил Сабуров.

- Нет, наверное, всех побили. Отрезать могут сегодня, если так пойдет. - Масленников кивнул на пулемет. - А мы выставим в окно и прямо оттуда их чесать будем. Хоть немного, да поможем, а?

- Хорошо, - сказал Сабуров.

- Могу идти?

- Можешь.

Масленников кивнул двум ожидавшим его бойцам, они втроем вышли из укрытия и двинулись к обломкам дома, перебегая, ложась и снова перебегая.

Сабуров хорошо видел, как они благополучно добрались до дома, как перелезли через обломки и, передавая из рук в руки пулемет, стали карабкаться по остаткам лестничной клетки. В это время несколько мин разорвалось рядом с окопом, в котором был Сабуров, и ему пришлось лечь.

Когда он поднялся, то увидел, что Масленников и бойцы уже устроились в окне и ведут оттуда огонь. Через несколько минут около обломка стены стали рваться немецкие снаряды. Масленников продолжал стрелять. Потом стена окуталась дымом и пылью. Когда дым рассеялся, Сабуров увидел, что все трое по-прежнему стреляют, но ниже их в стене немецким снарядом пробито сквозное отверстие. Еще один снаряд разорвался выше, и Сабуров увидел, как один из пулеметчиков, раскинув руки, словно ныряя, но только спиной, упал с выступа третьего этажа вниз, на камни. Если даже он был только ранен, то все равно, наверно, разбился насмерть.

Сабуров видел, как Масленников лег плашмя на выступ, сложил руки в трубку и что-то крикнул вниз один раз и еще раз, потом повернулся к пулемету и опять начал стрелять. Хотя немцы, заметив Масленникова, били в него с близкого расстояния, но попасть в амбразуру окна им пока не удавалось.

Еще один снаряд пробил стену ниже Масленникова. Второй номер оторвался от пулемета, покачнулся, чуть не упал вниз и, сбалансировав, остался сидеть на краю уступа. Масленников оставил пулемет, подтянулся к раненому и положил его плашмя вдоль стены, так, чтобы тот не упал. Несколько секунд он оставался так, нагнувшись над раненым, и опять вернулся к пулемету. Теперь он стрелял один.

Тем временем от Потапова подтащили три миномета - четвертый разбило по дороге. Сабуров вылез вместе с минометчиками вперед и расположил их за обломками каменного забора. Они сейчас же открыли огонь по немецкой батарее, которая была по Масленникову. Едва минометы открыли огонь, как немцы засекли их расположение.

Одним из осколков ранило командира батареи. Сабуров стал командовать вместо него. Немцы перенесли огонь на минометы, и Масленникову стало легче. Он все еще лежал и стрелял. Потом, когда Сабуров взглянул туда, он увидел один пулемет, - Масленникова не было.

«Неужели убили?» – испугался он. Но через несколько минут Масленников снова появился на стене: у него вышли диски, и он лазил за новыми.

Уже перед темной Сабурова еще раз засыпало землей. Он с трудом поднялся, в глазах мелькали искры. Он сел и обхватил руками голову. Искры стали реже, и он, словно сквозь туман, начал различать окружающее.

Подполз Петя и что-то спросил у него.

- Что? – переспросил Сабуров.

Петя опять неслышно что-то прошептал.

Сабуров повернулся к нему другим ухом.

- Не задело? – спросил Петя, и голос его был неожиданно громок.

- Не задело. – Опустив голову, Сабуров увидел, что шинель его вдоль всей груди рассечена, а под ней рассечена гимнастерка. Осколок пролетел мимо, едва коснувшись его; стоявший рядом миномет был исковеркан, труба была начисто оторвана.

Петя опять неслышно что-то прошептал.

Сабуров повернулся к нему другим ухом.

- Не задело? – спросил Петя, и голос его был неожиданно громок.

- Не задело. – Опустив голову, Сабуров увидел, что шинель его вдоль всей груди рассечена, а под ней рассечена гимнастерка. Осколок пролетел мимо, едва коснувшись его; стоявший рядом миномет был исковеркан, труба была начисто оторвана.

Судя по огню немцев, они все-таки отрезали полк Ремизова и стреляли теперь правее и ниже Сабурова, ближе к Волге. Он попробовал соединиться с Ваниным, но это оказалось безнадежным делом – все провода была порваны.

Бой, кажется, начинал затихать.

- Где Масленников? – спросил Сабуров.

- Здесь.

Оказывается, Масленников стоял сзади; через всю щеку у него чернел кровоподтек.

- Контузило?

- Нет, сбросило. Пулемет разбило, а со мной ничего.

«Представлю, – подумал Сабуров. – Непременно представлю. На Героя. А там пусть решают. Он и в самом деле герой». А вслух сказал только:

- Что с бойцами?

- Один насмерть расшибся, а второго все же вытащил.

- Хорошо, - сказал Сабуров. - Затихает, а?

- Затихает, - согласился Масленников. - Только они все-таки к Волге вышли.

- Да, похоже, - сказал Сабуров.

Они замолчали.

К ним подошла толстая курносая задыхающаяся сестра и спросила, нет ли еще раненых.

- Только там, впереди, - сказал Сабуров. - Совсем стемнеет, тогда вытащите.

Он подумал, что, наверное, Аня вот так же сейчас разыскивает раненых там, в полку Ремизова, от которого они теперь отрезаны.

- Я сейчас вытащу, - сказала сестра.

- Не лезьте, - сказал Сабуров грубо. - Обождите. - И ему захотелось, чтобы сейчас кто-то так же задержал Аню. - Через десять минут стемнеет, и ползете.

Сестра и двое санитаров прилегли за камнями. Если бы Сабуров не сказал «не лезьте», они бы сейчас поползли вперед, но им это запретили, и они были довольны, что можно еще десять минут пролежать здесь.

Позади, одна за другой, разорвалось несколько мин.

- Последний налет перед ночью делают, - сказал Масленников. - Верно, Алексей Иванович?

- Да, - согласился Сабуров.

- Говорят, по Волге сплошное сало идет.

- Говорят.

Сабуров откинулся на камни, повернул лицо вверх и только сейчас заметил, что снег все не перестает идти. Мокрые хлопья его приятно охладили разгоряченное лицо.

- Повернись так, - сказал он Масленникову.

- Как?

- Как я.

Масленников тоже лег на спину. Сабуров видел, как ему на лицо падают снежинки.

- Как думаете, долго будет сало идти?

- Не знаю, - сказал Сабуров. - Связь еще не установлена с Ваниным?

- Нет, все еще порвана.

- Оставайся пока тут, я пойду.

- Подождите, - сказал Масленников. - Сейчас стемнеет.

- Я тебе не медсестра.

Сабуров вылез из окопа, перепрыгнул через обломки и, укрываясь за стеной дома, пошел назад, к командному пункту батальона.

XVII

- С полком восстановили связь, - сказал Ванин, когда Сабуров вошел в блиндаж.

- Ну?

- Ремизова отрезали.

- А что думают делать?

- Не говорили. Наверное, от Проценко приказания ждут.

Они помолчали.

- Выпьешь чаю?

- А разве есть?

После всего только что пережитого казалось, что ничего обыкновенного, привычного на свете уже нет.

- Есть. Только остыл.

- Все равно.

Ванин поднял с пола чайник и налил в кружки.

- А водки не хочешь?

- Водки? Налей водки.

Ванин вылил чай обратно в чайник и налил по полкружки водки. Сабуров выпил ее равнодушно, даже не почувствовал вкуса. Сейчас она была просто лекарством от усталости. Потом Ванин опять полез за чайником. Они медленно пили остывший чай. Говорить не хотелось. Оба знали: сегодня произошло то, о чем во фронтовых сводках потом напишут: «За такое-то число положение значительно ухудшилось», или просто: «Ухудшилось». Выпив чаю, они еще помолчали. Давать распоряжения на завтра было рано, а о том, что уже было и прошло, говорить не хотелось.

- Хочешь радио послушать? - спросил Ванин.

- Хочу.

Ванин сел в углу и стал настраивать старенький приемник. Вдалеке заиграла музыка, но сразу кончилась. Ванин стал крутить регулятор, но приемник молчал. Потом они услышали обрывки не то болгарской, не то югославской передачи, слышались знакомые, похожие на русские и в то же время непонятные слова.

- Ничего не получается, - сказал Ванин.

- На Москву поставь, - сказал Сабуров.

Ванин, покрутив регулятор, довел до черточки с надписью «Москва». Оба прислушались. В приемнике стоял какой-то долгий, незатихающий треск; они не сразу поняли, что это аплодисменты. Потом из этого треска и гула возник совсем близкий голос человека, который, видимо, волновался.

- Заседание Московского Совета депутатов совместно с партийными и советскими организациями объявляю открытым. Слово для доклада имеет товарищ Сталин.

Снова начались аплодисменты.

- Разве сегодня шестое? - удивился Сабуров.

- Как видишь.

- Мне с утра казалось, что пятое.

- Откуда же пятое? - сказал Ванин. - Именно шестое. В прошлом году тоже не пропустили.

- Я в прошлом году не слышал. В окопах лежал.

- А я слышал, - сказал Ванин. - Тогда же у нас здесь была мирная жизнь. Мы за москвичей тревожились. Стояли здесь у репродукторов и слушали.

- Да, тогда вы за москвичей, теперь они за нас, - задумчиво сказал Сабуров и вспомнил ту первую речь Сталина в начале войны, в июле.

«К вам обращаюсь я, друзья мои!» - сказал тогда Сталин голосом, от которого Сабуров вздрогнул.

Кроме обычной твердости, была тогда в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью. Это была речь, которую он потом на войне несколько раз вспоминал в минуты самой смертельной опасности, вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, по тому, как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. И ему казалось с тех пор, что именно тогда, слушая эту речь, он дал клятву сделать на этой войне все, что в его силах. Он думал, что Сталину тяжело и в то же время что он решил победить. И это соответствовало тому, что чувствовал тогда сам Сабуров; и ему тогда тоже было тяжело и он тоже решил победить любой ценой.

Аплодисменты продолжались. Сабуров придвинулся вплотную к самому радио, тесня плечом Ванина. Сейчас ему было интересно не только то, что скажет Сталин, но и как скажет. Аплодисменты были так громки, что на секунду Сабурову показалось, что все это происходит тут, в блиндаже. Потом в репродукторе послышалось откашливание и неторопливый голос Сталина сказал:

- Товарищи...

Сталин говорил о ходе войны, о причинах наших неудач, о числе немецких дивизий, брошенных на нас, но Сабуров все еще не вдумывался в смысл слов, а слушал интонации

голоса. Ему хотелось знать, что сейчас на душе у Сталина, какое у него настроение, какой он сейчас вообще, как выглядит. Он искал в голосе интонации, знакомые ему по той речи, которую он слушал в июле сорок первого. Но интонации были другие. Сталин говорил отчетливее, чем тогда, и более низким спокойным голосом.

Перед концом речи, когда Сабуров уже душевно успокоился, когда он почувствовал, что и то, как Сталин говорит, и голос, которым он говорит, – все это, даже не совсем понятно почему, но вселяет в него, Сабурова, спокойствие, он особенно отчетливо услышал одну из последних фраз:

«Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей», – медленно, не выделяя слов, сказал Сталин и сделал паузу, прерванную аплодисментами.

Ванин и Сабуров долго молча сидели у приемника.

То, что Сабуров только что услышал, казалось ему необычайно важным. Он мысленно представил себе, что этот голос звучит здесь не сейчас, когда все затихло, а час назад, когда он был рядом с Масленниковым среди еще не прекратившегося адского грохота боя. И когда он подумал об этом, спокойный голос, услышанный им в репродукторе, показался ему удивительным. Тот, кто говорил, хорошо знал обо всем, что происходит здесь, и все-таки его голос оставался совершенно спокойным.

- И в самом деле, ведь победим же мы их в конце концов! – неожиданно для себя вслух сказал Сабуров. – Ведь будет же это? А, Ванин?

- Будет, – сказал Ванин.

- Когда я из медсанбата уезжал, мне один врач сказал, что на Эльтон и вообще по всей ветке массу войск гонят, и пушек, и танков, и всего. Я тогда не поверил ему, а сейчас думаю: может, и правда?

- Возможно, что и правда.

- А нам не дают ни одного человека, – сказал Сабуров.

- Проценко дал, пока тебя не было, тридцать человек.

- Но это из своих же тылов, тришкин кафтан. А кроме этого?

- А кроме этого – ничего.

Ванин покрутил регулятор. Откуда-то что-то кричали на иностранных языках, потом заиграла какая-то незнакомая музыка. Сабурова вдруг охватила грусть.

- Играют, – сказал он. – Странно, что есть еще что-то на свете. Города какие-то, страны, музыка.

- Играют, – сказал он. – Странно, что есть еще что-то на свете. Города какие-то, страны, музыка.

- Что же странного? – сказал Ванин.

- Нет, все-таки странно. Хотя, конечно, ничего странного нет. А все-таки странно...

В блиндаж влез Масленников, грязный, мокрый, замерзший. Он почернел и похудел за этот день. Щеки у него ввалились, но глаза блестели, и было в них что-то неистребимо юношеское, чего все еще никак не могла погасить война. Не сняв пилотки, он попросил закурить, два раза затынулся, сел, откинулся к стене и мгновенно заснул.

- Устал. - Сабуров снял с него пилотку, приподнял его ноги с пола и положил на койку. Масленников не просыпался. Сабуров погладил его рукой по волосам.

- Спит. Думаю его к Герюю представить. Как ты считаешь, Ванин?

- Не знаю, - пожал плечами Ванин. - Хлопец он хороший, но на Герюю...

- На Герюю, на Герюю, - сказал Сабуров. - Непременно на Герюю. Что, герой только тот, кто самолеты сбивает? Ничего подобного. Он как раз и есть герой. Обязательно представлю, и ты подпишешь. Подпишешь?

- Раз ты уверен, подпишу.

- Подпишем, - сказал Сабуров, - и чем скорее, тем лучше. При жизни все это надо. После смерти тоже хорошо, но так главным образом для окружающих. А самому тогда уже все равно.

Затрещал телефон.

- Да, товарищ майор, - сказал Сабуров. - Что делаю? Спать собираюсь. Слушаюсь, иду... Попов говорит, что Проценко меня к себе вызывает. К чему бы это?

Он вздохнул, надел ватник, тряхнул руку Ванину и вышел.

XVIII

Над передним краем немцев совсем близко полукольцом висели сигнальные белые ракеты. Сабуров шел рядом с автоматчиком, спотыкаясь и чувствуя, что засыпает на ходу.

- Погоди, - сказал он на середине пути. - Дай сяду.

Он присел на обломки и с горечью подумал, что начинает уставать не той усталостью, которая приходит каждый день к вечеру, а длинной, непроходящей, которой больны уже многие люди, провоевавшие полтора года. Они посидели несколько минут и пошли дальше.

Проценко они нашли не сразу. Их не предупредили, а он, оказывается, за эти четыре дня, что у него не был Сабуров, переместился. Теперь его командный пункт был, как и у Сабурова, в подземной трубе, но только в огромной, которая служила одной из главных городских магистралей, спускавшихся к Волге.

- Ну как тебе нравится мое новое помещение, Алексей Иванович? - спросил Проценко у Сабурова. - Хорошо, правда?

- Неплохо, товарищ генерал. И главное, пять метров над головой.

- Как бомба ударит, только посуда в доме сыплется, а больше ничего. Садись, как раз к чаю!

Сабуров, обжигаясь, выпил кружку горячего чая. Он с трудом удерживался от того, чтобы не клевать носом при генерале.

- Ты все на прежнем месте? - спросил Проценко.

- Да.

- Значит, еще не разбомбили?

- Выходит так, товарищ генерал.

Сабуров заметил, что во время всей этой болтовни Проценко внимательно присматривался к нему так, словно видит впервые.

- Как себя чувствуешь? - спросил Проценко.

- Хорошо.

- Я не про батальон, а про тебя лично. Как ты себя чувствуешь? Поправился?

- Поправился.

Проценко помолчал и снова внимательно посмотрел на Сабурова.

- Хочу дать тебе одно задание, - сказал он вдруг строго, как бы удостоверившись, что он вправе дать это задание и Сабуров его осилит. - Ремизова отрезали.

- Знаю, товарищ генерал.

- Знаю, что знаешь. Но мне от этого не легче. Знаю, что его отрезали, но не знаю, как там у него: кто жив, кто убит, сколько осталось, что могут сделать, чего не могут, - ничего не знаю. Радио у меня молчит как мертвое. Наверно, разбили. А я обязан знать, и сегодня же, понимаешь?

- Понимаю.

- Потом легче будет, когда Волга станет, по льду можно будет обходить. А сегодня нужно идти туда по берегу. Я проверял. В принципе пройти можно: немцы до обрыва дошли, но вниз не спустились. Мы отсюда огнем не дали это сделать, а Ремизов оттуда. В общем, пока не спускаются. Придется тебе пройти под обрывом, низом. - Проценко сделал паузу, посмотрел на усталое лицо Сабурова и жестко добавил: - Сегодня же ночью. Мне нужно, чтобы пошел человек не просто так, а чтобы мог мне все точно узнать, а если начальство выбито, взять на себя команду. Вот на этот случай приказ. - Он подвинул по столу бумагу. - В зависимости от обстановки буду ждать обратно сегодня же ночью или тебя, или, если останешься там, того, кого пришлешь. Как - один пойдешь или автоматчиков с собой возьмешь?

Сабуров задумался.

- Немцев на самом берегу нет?

- Маловероятно.

- Если напорюсь на немцев, два автоматчика все равно вряд ли выручат, - пожал плечами Сабуров. - А если просто обстрел - одному незаметнее. По-моему, так.

- Как знаешь.

Сабурову очень хотелось посидеть еще минут пять здесь, в тепле и безопасности, но он поймал глазами движение Проценко, готовившегося встать, и поднялся первым:

- Разрешите идти?

- Иди, Алексей Иванович.

Проценко встал, пожал ему руку не крепче и не дольше обычного, словно хотел сказать этим, что все должно быть в порядке и незачем прощаться как-то по-особенному.

Сабуров вышел за перегородку, во второе отделение блиндажа, где сидел знакомый ему адъютант Проценко – Востриков, парень недалекий и вечно все путавший, но ценимый генералом за беспредельную храбрость.

- Востриков, я у тебя автомат оставлю.

- Хорошо, будет в сохранности.

Сабуров поставил в угол автомат.

- А ты дай мне две «лимонки» или лучше – четыре. Есть?

- Есть.

Востриков порылся в углу и, не без некоторого душевного сожаления, дал Сабурову четыре маленькие гранаты Ф-1; они были у него уже с веревочками, чтобы подвешивать к поясу. Сабуров, не торопясь, повесил их по две с каждой стороны, предварительно попробовав, крепко ли сидят в них кольца.

- Тише, – сказал Востриков, – выдернете еще.

- Ничего.

Пристроив гранаты, Сабуров отстегнул неудобную треугольную немецкую кобуру, положил ее рядом с автоматом, а парабеллум засунул под ватник, за пазуху.

- Угощал на дорогу? – мигнул Востриков в сторону двери, за которой находился Проценко.

- Нет.

- Что же это он?

- Не знаю.

Сабуров пожал руку Вострикову и вышел.

- Востриков! – крикнул Проценко.

- Слушаю вас.

- Что вы там копались?

- Капитан Сабуров собирался.

- Чего он собирался?
- Автомат оставил, гранаты у меня взял.
- Ну ладно, иди.

Проценко задумался. По правде говоря, он посылал Сабурова не только потому, что Сабуров мог на крайний случай заменить Ремизова, но еще и потому, что Сабуров уже раз наладил ему связь с армией, и у Проценко было чувство, что именно Сабуров должен и на этот раз дойти и сделать. И хотя было очевидно, что сделать это нелегко, Проценко верил в удачу. Он сидел за столом и подробно обдумывал предстоящее. Вернется ли Сабуров или, оставшись там за командира полка, пришлет кого-нибудь сюда, все равно, так или иначе, эти триста метров обрыва, на которые выскочили немцы, надо брать обратно. Проценко позвал к себе начальника штаба, и они с карандашом в руках подсчитали, сколько у них осталось людей на сегодняшнюю ночь. Еще две недели назад цифра эта испугала бы Проценко, но сейчас он уже так привык к собственной бедности, что ему после подсчета показалось – все еще не так плохо. Он не знал, как обстояло дело у Ремизова, но здесь в двух полках сегодня были даже меньшие потери, чем следовало ожидать.

Чем же, какими силами отбивать берег? О том, чтобы целиком снять с позиций хотя бы один батальон, не могло быть и речи: надо было вытягивать людей отовсюду, из каждого батальона, и создать к завтрашней ночи сборный штурмовой отряд. Только так, другого выхода не было.

- Как вы решили, товарищ генерал? – спросил начальник штаба.

Проценко взял листок бумаги и подсчитал состав отряда.

- Вот, – сказал он, – здесь написано, по сколько человек откуда взять. За ночь выведи людей сюда в овраг. Днем сколотим их, подготовим, а завтра ночью, будем живы, отберем берег.

Проценко был мрачен. Его лицо ни разу не осветила обычная хитрая улыбка.

- Подпишите донесение в штаб армии. – Начальник штаба вынул из папки бумагу.
- О чем донесение?
- Как всегда, о событиях.
- О каких событиях?
- О сегодняшних.
- О каких?
- Как о каких? – с некоторым недоумением и раздражением переспросил начальник штаба. – О том, что немцы к Волге вышли, о том, что Ремизова отрезали.
- Не подпишу, – сказал Проценко, не поднимая головы.
- Почему?
- Потому что не вышли и не отрезали. Задержи донесение.
- А что же доносить?

- Сегодня ничего.

Начальник штаба развел руками.

- Знаю, - сказал Проценко. - За задержку донесения на сутки беру ответственность на себя. Отобьем берег и донесем все сразу. Если отобьем, нам это молчание простят.

- А если не отобьем?

- А если не отобьем, - сказал Проценко с обычно ему не присущей мрачной серьезностью, - некого будет прощать. Я сам поведу штурмовой отряд. Понятно? Что смотришь, Егор Петрович? Думаешь, ответственности боюсь? Не боюсь. Не боялся и не боюсь. А не хочу, чтобы знали, что немцы еще и здесь на берег вышли. Не хочу. Я в штаб армии сообщу, из штаба армии - в штаб фронта, из штаба фронта - в Ставку. Не хочу. Это же на всю Россию огорчение. Все равно, если сообщу, скажут: «Отбивай, Проценко, обратно». И ни одного солдата не дадут. Так я лучше сам, без приказов, отобью. Все огорчения на одного себя беру. Понимаешь?

Начальник штаба молчал.

- Если понимаешь - хорошо. А не понимаешь - как знаешь. Все равно будешь делать так, как я тебе приказал. Все. Иди выполняй.

Проценко вышел из блиндажа. Ночь была темная, свистел ветер, и шел крупный снег. Проценко посмотрел вниз. Там, в просвете между развалинами, видна была замерзавшая Волга. Отсюда, сверху, она казалась неподвижной и совсем белой. На земле, кое-где в ямках, уже плотно лежал падавший весь день снег. Правее по берегу хлопала минометы.

Проценко подумал о Сабурове, который сейчас, наверное, уже полз там, и невольно поежился.

В той роте, которая стояла на берегу, Сабуров взял автоматчика и с ним вместе добрался до одиноко высившихся впереди развалин, куда уже ночью был выдвинут крайний пулемет и откуда надо было спускаться прямо к Волге и ползти мимо немцев.

Командир роты предложил ему взять с собой автоматчика до конца, до Ремизова, но Сабуров снова отказался от этого.

Цепляясь за торчавшие из земли кирпичи и застывшие комья грязи, он тихо спустился вдоль откоса и теперь был на самом берегу. Он хорошо помнил это место: когда-то, вначале, во время переправы они высаживались именно здесь. Узкая полоска берега была совсем отлогой, и сразу над ней, уступами, поднимались глинистые террасы. Кое-где высились остатки пристаней, по берегу были разбросаны обгорелые бревна.

Едва Сабуров спустился вниз, как почувствовал, что его прохватывает насквозь.

Река была белая. Дул холодный ветер. Если бы он вздумал идти по самому обрезу берега, его силуэт на белом фоне был бы заметен сверху. Поэтому он решил идти чуть выше и ближе к обрыву. Отправляясь, он договорился с командиром роты, что, если немцы откроют по нему огонь, рота тоже откроет огонь из пулеметов по всему обрыву. Это была, правда, ненадежная помощь, но все-таки помощь на всей первой половине пути. Дальше предстояло самое трудное. Ремизова нельзя было предупредить никакими способами, и, заметив человека, оттуда могли и даже должны были открыть огонь. Оставалось полагаться на собственное счастье.

Первые сто метров он прошел, не ложась на землю, стараясь двигаться как можно бесшумнее и быстрее. Никто не стрелял. На берегу было пустынно; один раз он споткнулся обо что-то, упал на руки и, приподнимаясь, ощупал препятствие – это был окоченевший мертвец, и в темноте трудно было узнать – свой это или немец. Сабуров перешагнул через труп.

Но едва он сделал еще два шага, как впереди него прошла поверху косая очередь трассирующих пуль.

Он быстро отполз в сторону и прилег за выкинутыми на берег обгорелыми бревнами.

Немцы дали еще несколько очередей и осветили берег позади Сабурова, там, где лежал мертвец. Они принимали его за живого. Очереди ложились все ближе, и наконец одна попала прямо в труп. Лежа за бревнами, Сабуров ждал. Видимо, считая, что нарушивший тишину убит, немцы прекратили огонь.

Сабуров пополз дальше. Теперь он полз, не отрываясь от земли и стараясь не производить ни малейшего шума. Еще два или три раза он наткнулся на мертвые тела. Потом больно ударился о камень и тихо, про себя, выругался. Ему показалось, что впереди что-то шевелится. Он остановился и прислушался. Послышался плеск воды. Он тихо прополз еще несколько шагов. Плеск теперь был слышнее. Это был такой звук, словно черпали ведром воду. Он вдруг вспомнил, как в детстве, поспорив с товарищами, пошел ночью через все городское кладбище и в доказательство принес горсть фарфоровых цветов, выломанных из венка в самом конце кладбища. Сейчас ему было почти так же жутко, как тогда.

Он подполз ближе и увидел появившуюся из-за обломков лодки согнувшуюся фигуру. Человек пошел сначала как будто мимо, но потом, оглянув бревна, двинулся прямо к нему.

Сабуров ждал. У него не было никаких мыслей, было только ожидание: вот сейчас тот ступит еще раз, потом еще раз, и потом можно будет до него дотянуться. Когда человек сделал еще шаг, Сабуров протянул вперед руку, схватил его за ногу и дернул к себе.

Человек, падая, страшно закричал, и в ту же секунду что-то ударило Сабурова по голове и окатило ледяной водой. Человек закричал не по-русски и не по-немецки, а просто отчаянно: «А-а-а...» Сабуров изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Крикнув что-то по-немецки, человек схватил его руку и вцепился в нее зубами. Понимая, что теперь уже все равно, тихо или нет, Сабуров вытащил свободной рукой парабеллум и несколько раз подряд выстрелил, упирая дуло в тело немца. Тот дернулся и затих.

Сверху раздалась автоматные очереди; несколько пуль с грохотом ударились в ведро. Сабуров нащупал привязанную к ведру веревку: убитый немец ходил к Волге за водой.

Сверху продолжали стрелять.

«Спустятся или побоятся?» – подумал Сабуров.

Он лег, подперев плечом труп, который теперь уже полулежал на нем и прикрывал его от пуль.

«Когда же все это кончится?» Он чувствовал, что коченеет; немец, падая, вылил на него все ведро. Сверху продолжали стрелять, и так они могли стрелять всю ночь. Сабуров сбросил с себя мертвеца и пополз. Пули ударялись в землю то впереди, то позади него, и когда он прополз шагов тридцать, а стрелять продолжали чуть ли не вдоль всего берега, к нему вернулось ощущение, что в него не попадут.

Он прополз пятьдесят шагов. По берегу все еще стреляли. Еще несколько шагов...

Руки его так окоченели, что уже не чувствовали земли. Были хорошо видны огоньки выстрелов там, на обрыве, откуда стреляли. Теперь и сзади, откуда он шел, и спереди, от Ремизова, виднелись трассы пуль, шедшие по направлению к стрелявшим немцам. Перестрелка разгоралась все сильнее, немцы стали все реже стрелять вниз и чаще отвечать влево и вправо. Тогда Сабуров вскочил и побежал – он больше не мог ползти. Он бежал, спотыкаясь, перепрыгивая через бревна. У него мелькнула мысль: там, у Ремизова, должны понять, что немцы стреляют по кому-то из наших. Несмотря на грязь и темноту, он бежал отчаянно быстро. Он упал оттого, что кто-то подставил ему ногу; упал лицом в грязь, ушиб плечо, а кто-то в это время сел ему на спину и стал крутить руки.

- Кто? – спросил хриплый голос.

- Свои, – почему-то все еще шепотом сказал Сабуров и, чувствуя, как ему выкручивают пальцы, толкнул свободной рукой одного из навалившихся на него так, что тот покатился.

- Чего пихаешься? – огрызнулся тот.

- Говорю, свои. Ведите меня к Ремизову.

Немцы, должно быть, услышали возню и пустили несколько очередей. Кто-то всхлипнул.

- Что, ранило? – спросил другой.

- В ногу, больно.

- Сюда, – схватив Сабурова за руку, кто-то потащил его вперед.

Они пробежали несколько шагов и спрятались за остатками стены.

- Откуда? – спросил тот же хрипый голос, который он услышал в начале.

- От генерала.

- Кто это, в темноте не вижу.

- Капитан Сабуров.

- А, Сабуров... Ну, а это Григорович, – и голос сразу стал знакомым Сабурову. – Это ты мне плюху влепил? Ну ничего, от старого друга.

Григорович был одним из командиров штаба, которого Проценко месяц назад по его просьбе отправил командовать ротой.

- Пойдем к Ремизову, – сказал Григорович.

- Ремизов жив?

- Жив, только лежит.

- Что, тяжело ранили?

- Не так чтоб тяжело, но неудобно. Сегодня весь день по матери ругается. Ему, по-научному

говоря, в обе ягодицы по касательной из автомата всадили, или лежит на животе, или с грехом пополам ходит, а сесть не может.

Сабуров невольно рассмеялся.

- Тебе смех, - сказал Григорович, - а нам - слезы.

Сабуров нашел Ремизова в тесном блиндажике лежащим на койке плашмя, с подушками, подложенными под голову и грудь.

- От генерала? - нетерпеливо спросил Ремизов.

- От генерала, - сказал Сабуров. - Здравствуйте, товарищ полковник.

- Здравствуйте, Сабуров. Я так и думал, что кто-нибудь от генерала, и велел стрельбу не открывать. Как там у вас?

- Все в порядке, - ответил Сабуров, - за исключением того, что от генерала Проценко до полковника Ремизова приходится ползать на пузе.

- Хуже, когда приходится командовать лежа на пузе, - сказал Ремизов и затейливо выругался. Потом, подозрительно прищурясь, посмотрел из-под густых седых бровей на Сабурова и спросил: - Уже небось доложили о моем ранении?

- Доложили.

- Ну еще бы: «Командир полка ранен в интересное место...» Погодите, погодите, - вдруг перебил он себя, - вы весь в крови? Ранены?

- Нет, немца убил.

- Снимите тогда хоть ватник, что ли. Шарапов, дай капитану умыться и ватник мой дай! Снимайте, снимайте!

Сабуров стал расстегиваться.

- Что вам генерал приказал?

- Уточнить положение и сообщить, - сказал Сабуров, умалчивая о том, что Проценко предполагал худшее и в этом случае приказал ему возглавить полк.

- Ну что ж, положение, - сказал Ремизов, - положение не столько плохое, сколько постыдное. Отдали кусок берега. Комиссар полка убит. Два командира батальонов убиты. Я, как видите, жив. Как генерал, настроен восстанавливать положение?

- Снимите тогда хоть ватник, что ли. Шарапов, дай капитану умыться и ватник мой дай! Снимайте, снимайте!

Сабуров стал расстегиваться.

- Что вам генерал приказал?

- Уточнить положение и сообщить, - сказал Сабуров, умалчивая о том, что Проценко

предполагал худшее и в этом случае приказал ему возглавить полк.

- Ну что ж, положение, - сказал Ремизов, - положение не столько плохое, сколько постыдное. Отдали кусок берега. Комиссар полка убит. Два командира батальонов убиты. Я, как видите, жив. Как генерал, настроен восстанавливать положение?

- Думаю, в предвидении этого он меня и послал, - сказал Сабуров.

- Я тоже так полагаю. И с двух сторон восстанавливать надо, разумеется, - сказал Ремизов. - Значит, обогреетесь и придется двигаться обратно?

- Придется, - согласился Сабуров.

- А может, останетесь у меня; командира туда пошлю. Как вам приказано?

- Нет, я вернусь, - сказал Сабуров.

- Семен Семенович! - крикнул Ремизов.

Вошел майор, начальник штаба.

- Схемочка нашего расположения сделана?

- Сейчас кончим. Уточняем.

- Давайте скорее, шевелитесь... Вы меня опередили, - обратился Ремизов к Сабурову, - я сам хотел командира посылать. Схемочку готовили, из-за этого и задержались. Сейчас ее дадут, и я вместе с вами офицера связи пошлю. Филипчука знаете?

- Нет, не знаю.

- Хороший, смелый командир. Пойдет с вами.

Ремизов попробовал приподняться и опять длинно выругался.

- Представляете, куда угодило. А у меня такой характер скверный, что я бегать все время должен: и думать не могу не бегая, и командовать не могу, - ничего не могу. Шестой десяток, пора бы отвыкнуть - а не отвыкается. Шарапов! - снова крикнул он.

Появился ординарец.

- Помоги с койки слезть.

Поднимаясь с койки, Ремизов кряхтел, стонал и ругался, и все это как-то сразу, одним духом. Поднявшись, он, морщась от боли, проковылял несколько раз взад-вперед по блиндажу.

- Схемочка готова?

- Готова, - ответил майор, подавая бумагу.

- Вот тут при схемочке все записано, - взяв, скорее вырвав у майора бумагу и продолжая ковылять, сказал Ремизов. - Что у меня где стоит и что можно сделать с моей стороны. Как-то сразу все вышло: обоих командиров батальонов убили, комиссара убили и меня ранили, - всех в течение получаса. Как раз в этот момент и вышла вся история.

- Потерь много? - осведомился Сабуров.

- Одного батальона почти нет. Того, что берег занимал. А два почти как были. В общем, сражаться еще можно.

- А как у вас с вывозкой раненых? - спросил Сабуров с некоторой запинкой.

Он долго готовился к этому вопросу. Знал, что Аня здесь, в полку Ремизова, и все не решался начать этот разговор, боясь наткнуться на страшное известие.

- Ну, какой же вывоз - на Волге сало. Подкопали землю и держим в пещерах.

- Далеко отсюда? - заинтересовался Сабуров.

- Да, далековато. На правом фланге тише, там и держим... Как, Филипчук, собрался? - крикнул Ремизов.

- Собрался, - ответили из другой половины землянки.

- Сейчас пойдете. Эх, да как же я вам ничего выпить не предложил. Шарاپов! Я не вспомнил, старый стал, а ты что же?

Шарапов тут же, не сходя с места, отцепил от пояса немецкую флягу, отстегнул от нее стаканчик, налил и подал Сабурову.

Сабуров выпил и закашлялся - это был спирт.

- Забыл вас предупредить. Водки, по возможности, не пью, - добавил Ремизов. - В финскую войну был на так называемом петсамском направлении. К спирту там приучился. Удивительная теплота от него. Шарاپов, помоги мне!

Шарапов подошел к Ремизову, и снова с кряхтением, стонами и ругательствами повторилась та же операция в обратном порядке.

- Трудно все же ходить, - сказал Ремизов, улегшись. - Несколько раз был ранен, но такого идиотского, с позволения сказать, ранения... Честное слово, если б того немца поймал, который мне это сделал, против всех воинских законов взял бы и выпорол. Кому же бумаги вручить - вам или Филипчику? Филипчук!

- Здесь.

В блиндаж вошел рослый человек в ватнике, с автоматом.

- Мне дайте, - сказал Сабуров. - Сюда дошел, авось и обратно дойду.

- Раз так - берите. Доложите командиру дивизии, что полковник Ремизов сделает все, чтобы вернуть берег, искупит свою вину сам. И других заставит искупить, - добавил он сердито. - Доложите: настроение бодрое, к бою готовы. Про ранение мое сказал бы, чтоб не докладывали, но все равно не удержитесь, пусть смеется. К вам, Филипчук, - сказал Ремизов, обращаясь к ожидавшему командиру, - единственная просьба и приказание: добраться до штаба и впоследствии вернуться сюда живым и здоровым.

- Есть вернуться, - сказал Филипчук.

- Все. Да, вот еще что...

Прервав себя на полуслове, Ремизов зажмурил глаза и стиснул зубы. Так он пролежал несколько секунд, и Сабуров понял, что старик говорит через силу.

- Так вот еще что, - открыв глаза, прежним тоном продолжал Ремизов. - Считаю, что сегодня на рассвете и днем возвращать позиции не надо. Немцы будут ждать контратаки. Сегодня надо удержаться там, где находимся, подготовиться, а завтра ночью, когда они уже будут считать, что мы смирились со своим дрянным положением, как раз и надо будет ударить. Доложите это мое мнение командиру дивизии. Филипчук, вы готовы?

- Так точно.

- Тогда ступайте!

Когда они, сползая по скользким уступам, стали пробираться вниз, к берегу, Сабуров вновь спросил, на этот раз Филипчука:

- Как у вас тут с ранеными? Вывозите?

- Где же вывозить? Сало, - теми же словами, что и полковник, ответил Филипчук. - А что?

- Ничего, так. - Сабуров вдруг вспомнил, с какой откровенностью Аня в последний раз подошла и обняла его при Масленникове, и устыдился своего смущения. - Дело в том, что тут у вас в полку моя жена.

- Жена? - удивленно переспросил Филипчук. - Где?

- Она медсестра. Вообще-то она в медсанбате, но сейчас здесь у вас, в полку. Клименко, не знаете?

- Клименко, - повторил Филипчук. - Клименко...

- Аня, - добавил Сабуров.

- Аня? Так бы сразу и сказали. Конечно, знаю.

- С ней все в порядке? - спросил Сабуров.

- По-моему, да, - ответил Филипчук. - Я ее вечером, часов в шесть, видел. По-моему, все нормально, - повторил он с некоторым сомнением в голосе, потому что с тех пор, как не видел Аню, прошло уже семь или восемь часов, а за семь-восемь часов в Сталинграде все могло случиться.

- Если увидите ее, когда вернется, - сказал Сабуров, - сообщите ей, что с Сабуровым все в порядке... И что я ей привет передал. Или даже не надо - просто, что со мной все в порядке.

- Хорошо, - сказал Филипчук. - Я не только сегодня, а и вчера ее видел у Ремизова. Старик ее почем зря ругал.

- За что? - уже догадываясь, спросил Сабуров.

- За то, что лезет, куда не надо. А старик до сих пор видеть не может, когда женщину ранят или убивают. Кричал, ногами топал и выгнал. А потом вызвал своего Шарапова и велел

наградной лист принести. У него это все сразу делается.

Сабуров улыбнулся и почувствовал благодарность к Ремизову не столько за наградной лист, сколько за то, что он ругал Аню и топал на нее ногами.

Они дошли до развалин, около которых Сабурова схватили полчаса назад. Там по-прежнему сидел Григорович.

- Сабуров? - спросил он тихо.

- Да.

- Обрато идешь?

- Обрато.

Григорович придвинулся ближе и пожал руки Сабурову и Филипчуку. На голове у него белела повязка.

- Что это у тебя? - спросил Сабуров.

- Еще спрашиваешь. Рука-то у тебя как кувалда. Так меня пихнул, что весь лоб об камни раскровенил.

- Ну, прости, - извинился Сабуров.

- Бог простит. Между прочим, немцы до сих пор никак не успокоятся. Видишь, шарят по всему берегу.

Сабуров посмотрел вперед. На обрыве вспыхивали автоматные очереди.

- Придется всю дорогу ползти, - тихо сказал он Филипчуку.

- Хорошо, - ответил тот.

- Я пакет прямо за пазуху, вот сюда кладу, - на всякий случай предупредил Сабуров. Он взял руку Филипчука и дал ему пощупать пакет. - Чувствуете, где?

- Чувствую, - ответил Филипчук.

- Ну, ладно, поползли.

Для Сабурова, отличавшегося острой памятью, теперь берег был уже знаком. Он вспоминал одно за другим все бревна и обломки, за которыми можно было укрыться.

Филипчук полз за ним. Время от времени, когда пули ударялись близко от них, Сабуров спрашивал: «Ты здесь?», и Филипчук тихо отвечал: «Здесь».

По расчетам Сабурова, они уже приближались к нашему переднему краю с той стороны, когда вокруг них сразу ударило несколько очередей.

- Ты здесь? - спросил Сабуров.

Филипчук молчал. Сабуров, не поднимаясь, прополз два шага обратно и нащупал тело

Филипчука.

- Ты жив? - спросил он.

- Жив, - чуть слышно отозвался Филипчук.

- Что с тобой?

Но Филипчук уже не отвечал. Сабуров ощупал его. В двух местах - на шее и на боку - под ватником было мокро от крови. Он прижался ухом к губам Филипчука. Филипчук дышал. Сабуров подхватил его одной рукой под мышки и, подтягиваясь на другой руке и отталкиваясь ногами, пополз дальше. Через тридцать шагов изнемог от усталости, опустил Филипчука и лег рядом с ним.

- Филипчук, а Филипчук?

Филипчук молчал.

Сабуров залез под ватник и гимнастерку и дотронулся до голого тела Филипчука. Тело заметно похолодело. Сабуров расстегнул карманы гимнастерки убитого, вынул пачку документов, вытащил из кобуры наган, засунул его к себе в карман брюк и пополз. Ему не хотелось оставлять здесь тело Филипчука, но пакет, лежавший за пазухой, не позволял долго раздумывать.

Когда он прополз еще шагов сорок, впереди послышался свистящий шепот: «Кто?»

- Свои, - тоже шепотом ответил Сабуров, встал на онемевшие ноги и, не видя ничего перед собой, пошел вперед. Оказалось, что ему нужно было сделать всего три шага до выступа стены, где его ждали. - Командир роты где? - спросил он.

- Здесь.

- Там, шагах в сорока, лежит командир, с которым я полз.

- Раненый? - спросил командир роты.

- Нет, убитый, - ответил Сабуров сердито, чувствуя за этими словами вопрос, вытаскивать или нет. - Убитый, но все равно надо вытащить. Понятно?

- Понятно, товарищ капитан, - сказал командир роты. - Вы документы взяли у него?

- Взял, - сказал Сабуров.

- Ну так что же, товарищ капитан? Ему все равно... легче не будет. А двух человек мне посылать - пропасть могут.

- Я вам уже приказал вытащить, - повторил Сабуров.

- Есть, товарищ капитан, - сказал командир роты, - но...

- Что «но»?

- В другое время не стал бы говорить, а сейчас каждый человек на счету.

- Если не вытащите, - с неожиданным для себя бешенством сказал Сабуров, - отнесу пакет к генералу, вернусь, сам вытащу, а вас за невыполнение приказа застрелю. Дайте мне провожатого до штаба.

Он повернулся и нетвердой походкой вслед за автоматчиком двинулся к блиндажу Проценко. Еще секунда - и он мог бы ударить этого командира роты. Может быть, тот по-своему прав и люди у него на счету, но в том, чтобы вытащить тело убитого командира, было что-то такое важное и святое для армии, что, на взгляд Сабурова, оправдывало даже потери, если они были неизбежны.

Когда Сабуров ввалился в блиндаж, у него потемнело в глазах, и он сразу сел на лавку. Потом открыл глаза, хотел встать, но Проценко, который был уже рядом, положил руку ему на плечо и посадил его обратно.

- Водки выпьешь?

- Нет, товарищ генерал, не могу, - устал, свалюсь от нее. Если бы чаю...

- А ну дайте ему скорей чаю! - крикнул Проценко. - Ремизов жив?

- Жив, только ранен. Вот от него пакет. - Сабуров полез за пазуху и вынул пакет.

- Добре, - сказал Проценко, надевая очки.

Увидев, что Проценко читает донесение, Сабуров привалился к стене, и только когда Проценко, неизвестно через сколько времени, тряхнул его за плечо, понял, что заснул.

- Сиди, сиди, - удержал его Проценко.

- Я долго спал?

- Долго. Минут десять. Ремизов ранен, говоришь?

- Ранен.

- Куда?

Сабуров сказал. Как и предвидел Ремизов, Проценко рассмеялся.

- Небось ругается старик?

- Еще как.

- А какое настроение у них?

- По-моему, неплохое.

- Он мне пишет, что может собраться с силами и со своей стороны по немцам ударить. Тоже с таким положением мириться не хочет. - И Проценко постучал пальцем по бумаге, которую держал в руке. - Ты один пришел оттуда?

- Один.

- Что же он тебе командира не дал для связи, чтобы его обратно послать? Старый, старый, а

тоже маху дает.

- Он дал командира, его убили по дороге.

Только теперь вспомнив, что у него документы и оружие Филипчука, Сабуров выложил все на стол.

- Так. - Проценко нахмурился. - Сильно стреляли?

- Сильно.

- Днем не пройти там?

- Днем совсем не пройти.

- Да... - протянул Проценко. Он, очевидно, хотел что-то сказать и не решался. - А мне завтрашней ночью штурм делать. Как же это его убили?

- Кого?

- Его. - Проценко кивнул на лежавшие перед ним документы Филипчука.

- Смертельно ранили, потом тащил его, потом умер.

- Да... - опять протянул Проценко.

У Сабурова смыкались глаза от усталости. Он смутно чувствовал, что Проценко хочет послать его обратно к Ремизову, но не решается об этом сказать.

- Егор Петрович, - обратился Проценко к сидевшему тут же начальнику штаба. - Пиши приказ Ремизову. Все предусмотрим, как решили: и точный час, и ракету - все.

- Я уже пишу, - отрываясь от бумаги, ответил начальник штаба.

Проценко повернулся к Сабурову и чуть ли не в пятый раз повторил:

- Да... Ну ты чего сидишь-то? Ты приляг пока. - Он выговорил это слово «пока» осторожно, почти робко. - Приляг пока. Ну-ну, приляг. Приказываю.

Сабуров вскинул ноги на скамейку и, приткнувшись лицом к холодной, мокрой стене блиндажа, мгновенно заснул. Последней блеснувшей у него мыслью была мысль, что, наверное, его все-таки пошлют, ну и пусть посылают, только бы дали сейчас поспать полчаса, а там все равно.

Проценко, прохаживаясь по блиндажу, ждал, когда начальник штаба допишет приказ. Иногда он на ходу взглядывал на Сабурова. Тот спал.

- Слушай, Егор Петрович, а если Вострикова послать?

- Можно Вострикова, - согласился начальник штаба. - Вы на словах ничего не будете добавлять, только приказ?

- Плохой приказ, если к нему надо еще что-то на словах добавлять.

- Если на словах не добавлять, можно Вострикова.
- Я бы его послал, – кивнул Проценко на Сабурова, – да трудно в третий раз за ночь идти.
- Идти труднее, а дойти легче, – заметил начальник штаба. – Он на животе уже два раза прополз, каждый бугорок, каждую ямку знает.
- Да... – опять протянул Проценко. – Придется. Должен быть там приказ. Алексей Иванович, – растолкал он Сабурова.
- Да, – поднялся Сабуров с той готовностью, с какой спохватываются накоротке заснувшие люди.
- Вот приказ, возьми, – сказал Проценко. – Когда дойдешь до Ремизова, пусть дадут нам зеленую и красную ракету над Волгой. А если ракет нет – три очереди из автоматов трассирующими. И после паузы еще одну. Отсюда будет видно?
- Да, – подтвердил Сабуров.
- Буду знать, что дошел и приказ донес. Ты по дороге-то не заснешь? – спросил Проценко, похлопывая Сабурова по плечу. – Вдруг проснешься, а уже день?
- Не засну. Немцы не дадут.
- Разве что немцы, – усмехнулся Проценко. – Здорово устал?
- Ничего, не засну, – повторил Сабуров.
- Ну ладно. Садись за стол.

Сабуров присел к столу, а Проценко, приоткрыв дверь, крикнул:

- Как там насчет чаю?

Потом Проценко сам вышел за дверь и тихо отдал какое-то распоряжение. Через две минуты, когда Проценко, Сабуров и начальник штаба сидели рядом за столом, Востриков внес медный поднос, на котором, кроме трех кружек с чаем, была горстка печенья и стояла только что вскрытая банка с вишневым вареньем.

- Вот, – сказал Проценко, – варениками угостить не могу, а украинской вишней – пожалуйста. – Он повертел в руках банку и подчеркнул ногтем надпись на этикетке. – «Держконсервтрест. Киев». Чуешь? С Киева вожу.

- Так все время с Киева и возите? – спросил Сабуров.
- Сбрехал, конечно. Где-то под Воронежем выдали. Люблю вишню... Ну давайте чай пить.

Теперь Проценко уже не возвращался к своим сомнениям – посылать Сабурова или не посылать. Выразить излишнее беспокойство – значило напоминать человеку, что ты думаешь о его возможной гибели. И Проценко неожиданно завел разговор о школе червонных старшин при ВУЦИКе, где он когда-то учился.

- Ничего учили. Вид был хороший: форма, галифе. Между прочим, хотя тогда и не принято было, но даже танцам и хорошим манерам учили.

- Ну и как, научили? - усмехнулся начальник штаба.

- А что, разве не заметно?

- Как когда.

Сабуров выпил кружку горячего чая, и ему опять захотелось спать. После второй он как будто немного разгулялся. Варенье было вкусное, какое он любил с детства, - без косточек.

Проценко приказал подать по третьей кружке. Тут Сабуров почувствовал, что пора идти, и, сделав несколько глотков, поднялся.

- Что же не допил? - спросил Проценко.

- Пора, товарищ генерал.

- Значит, если ракет нет, дадите автоматные очереди, три и одну.

- Ясно, - сказал Сабуров.

- В сторону Волги...

- Ясно.

Откозыряв, Сабуров повернулся и вышел. Проценко и начальник штаба помолчали.

- Ну как, - обратился Проценко к вошедшему штабному командиру, - людей из батальонов вывели сюда?

- Выводят.

- Поторапливайтесь, скоро рассвет. Тогда выводить будете - людей потеряете... Считаешь, дойдет? - подумав о Сабурове, спросил Проценко начальника штаба.

- Надеюсь, что да.

- И я надеюсь. Была минута, когда отправлял его, хотел сказать прямо: дойдешь в третий раз - орден Ленина тебе, генеральское слово. Не утвердят, свой сниму, отдам!

Тем временем Сабуров полз по окончательно обледеневшей земле. То ли дело близилось к рассвету и немцы считали, что никто здесь больше не пойдет, то ли им просто надоело всю ночь стрелять по берегу, но он уже прополз половину пути, а сверху не грохнуло ни одного выстрела. Его даже начало пугать это - не будет ли засады? Он взвел парабеллум и, отвязав от пояса одну «лимонку», взял ее в правую руку. Хотя так ему было труднее ползти, но он не выпускал гранаты, держа ее таким образом, чтобы метнуть в первое же опасное мгновение. Потом он вспомнил о приказе. Ну что ж, вторую гранату в крайнем случае он бросит себе под ноги. Он благополучно прополз еще полсотни шагов и начал отгонять эти мысли. Подсознательное чувство говорило ему, что и на этот раз все сойдет. И действительно, он дополз до развалин на той стороне без единого выстрела за всю дорогу.

- Опять ты, Сабуров? - окликнул Григорович.

- Я.

- А Филипчук где?

- Убит.

- Где?

- Шагов семьдесят не доползли, - сказал Сабуров и вспомнил мертвое лицо Филипчука. Возвращаясь сюда, он спросил у командира роты, вытащен ли Филипчук. Услышав, что вытащен, он захотел сам посмотреть, где лежит тело, и посветил ручным фонарем в лицо Филипчука. Лицо было бледно. Кто-то из бойцов стер с него грязь и кровь. И в который раз в жизни Сабурову стало не по себе, что вот с этим человеком какой-нибудь час назад он перешептывался: «Ты здесь», - говорил он. «Я здесь», - отвечал Филипчук.

Войдя к Ремизову, Сабуров вручил ему приказ. Ремизов прочел приказ, потом спросил о Филипчуке. Повторился почти тот же разговор, что с Григоровичем.

- А документы принес? - спросил Ремизов.

- Генералу отдал. Приказано дать сигнал, что я добрался. У вас зеленые и красные ракеты есть?

- Должны быть. Посмотри, Шарапов, есть ракеты?

- Ракеты все, товарищ полковник.

- Тогда приказано дать три автоматные очереди трассирующими над Волгой. Три сразу и одну вслед.

- Это можно, - оживился Ремизов и снова крикнул: - Шарапов! Помоги мне встать.

Шарапов помог ему встать, и он, кряхтя и разминаясь, пошел по блиндажу.

- Дай мне автомат и диск с трассирующими. Пойдемте, Сабуров. Я сам, коли так, тоже очередь дам.

Шарапов и еще один автоматчик вышли из блиндажа вслед за Ремизовым и Сабуровым.

- Становись рядом со мной. Стрелять по команде «три», очередью. Будем считать, что это наш прощальный салют Филипчуку. - Ремизов повернулся к автоматчику: - Отдайте свой автомат капитану. Возьмите, Сабуров. Вместе с вами помянем товарища!

Небо уже начинало сереть, когда по команде «три» они выпустили по автоматной очереди. Светящиеся трассы пуль, изгибаясь где-то в конце пути, взлетели высоко в темно-сером воздухе над Волгой. Ремизов дал вдогонку еще одну очередь и посмотрел на Сабурова, как раз в эту минуту хотевшего сказать, что ему пора идти обратно.

- Не пуцу вас, уже светает. И вообще не пуцу. До трех раз судьбу испытывать можно, больше не надо. Пробьемся завтра ночью - вернетесь.

- У меня там батальон без командира, - сказал Сабуров.

- А у меня тут два батальона без командиров. Идите спать. Шарапов, устрой капитана на комиссарскую койку. Погиб у меня комиссар. Прекрасный был человек. Только месяц назад из райкома партии прислали. Воевать не умел, а бодрость душевную даже в меня, в старого черта,

вселял. Очень жалею. Даже удивительно, как жалею. Пойдемте в блиндаж.

XIX

Когда Сабуров проснулся, было уже три часа дня: он проспал почти восемь часов. В углу блиндажа кто-то копошился.

- Кто там? - спросил Сабуров.

- Я

Перед ним стояла толстая девушка, рукава у нее были засучены, а поверх гимнастерки надет передник.

- А где полковник? - спросил Сабуров.

- На передовой.

- А где у вас передовая?

- А тут, рядом.

Сабуров спустил ноги на пол и только теперь обнаружил, что во время сна кто-то снял с него сапоги и портянки.

- Сидите, - сказала девушка. - Портянки сушатся, сейчас принесу.

- Кто же это с меня сапоги снял? - спросил Сабуров.

- Ясно кто - Шарапов.

Девушка вышла и тут же вернулась, держа в одной руке покоробившиеся просушенные сапоги Сабурова, а в другой - портянки.

- Натяните, надевайте.

- Как вас зовут? - спросил Сабуров.

- Паша.

- Что же вы тут, одна за всех?

- Одна, - ответила Паша. - Все на передовую ушли, и телефон там.

- Стало быть, вся охрана штаба на вас возложена? - спросил Сабуров, подвертывая портянки.

Паша промолчала, видимо не одобряя этого праздного вопроса.

- Кушать хотите?

- Хочу.

- Полковник приказал, чтобы вы, как проснетесь и покушаете, к нему шли. Вас автоматчик

проводит.

- А чем же ты меня кормить будешь?

Паша огорченно пожала плечами: этот вопрос ей доставил страдание.

- Кицытратом. Грешневым. Кушали?

- Случалось.

- Я в него сала положила. А чего завтра буду готовить, не знаю.

- Все еще не стала Волга? - спросил Сабуров.

- А шут ее знает. То говорят - стала, то - не стала. А продуктов не везут. Вот и мучайся.

Она вышла и вернулась со сковородкой каши.

- Кушайте.

Потом полезла в угол, достала флягу, встряхнула и, не спрашивая Сабурова, налила ему полстакана.

- Где Шарапов? - спросил Сабуров.

- С полковником. Он всегда с полковником, от полковника не отстают.

Она, не дожидаясь приглашения, села на табуретку напротив Сабурова и, подперев рукой подбородок, стала его разглядывать. В полку она, наверное, уже всех разглядела, а он был новенький.

- Ну что ты смотришь? - сказал Сабуров.

- Ничего, так. Теперь у нас будете?

- Нет, не у вас.

- А чего же вы?

- Временно сюда прибыл. Завтра отбуду. Как, можно?

- А почему же нельзя? - не поняв шутки, сказала она. - Может, еще чего хотите покушать, так больше нет ничего. Может, чаю еще хотите, так чай есть.

- Нет, не хочу, - ответил Сабуров.

- А Сергей Васильевич всегда чай пьет.

- Кто это Сергей Васильевич?

- Да полковник.

- Ну, а я не хочу.

- Как ваше желание. Может, вам шоколаду дать?

- Нет.
- Сергей Васильевич сказал, чтоб вас всем, что есть, кормить.
- Спасибо, не хочу.
- Ладно, как хотите, а то у него одна плитка осталась, – как показалось Сабурову, с некоторым облегчением сказала девушка.
- Так где же автоматчик? – спросил он, доев концентрат.
- Там, в окопе.

Сабуров поднялся:

- Спасибо.
- Будьте здоровы. Вы чего-то кушаете мало.

Сабуров вышел. В окопе около блиндажа его действительно ждал автоматчик.

- Ну что ж, пойдём до полковника, – сказал Сабуров.
- А что до него идти, товарищ капитан, – сказал автоматчик. – До него рукой подать.

В хозяйстве Ремизова чувствовалась аккуратность. Вперед от блиндажа, через развалины, шли ходы сообщения, прерывавшиеся только там, где можно было безопасно пройти в рост.

Через пять минут Сабуров был на наблюдательном пункте, устроенном довольно остроумно. На самом краю обрывистого оврага, отделявшего здесь позиции Ремизова от немцев, стоял разрушенный дом, по остаткам которого непрерывно била немецкая артиллерия. Ремизов подкопался под фундамент и внизу под ним сделал довольно просторную землянку с двумя замаскированными глазками в сторону немцев.

Земля за ночь окончательно обледенела. На дне оврага лежал опрокинутый, сорвавшийся с откоса танк и валялось много трупов.

- Как позавтракали? – вместо приветствия спросил Сабурова Ремизов.
- Отлично, товарищ полковник.
- Значит, Паша не подвела. Она кулачка: все для меня бережет. Никак ее к гостеприимству не приучу.
- Наоборот, – сказал Сабуров, – даже шоколаду мне предлагала.
- Неужели? Ну, это прогресс. Тихо сегодня у меня. Зато, кажется, там на генерала нажимают. Слышите?

Действительно, левее слышалась стрельба.

- По звукам судя, уже два раза до гранатного боя доходило. Я бы на вашем месте после таких пластунских подвигов сутки спал. Приказал не будить. Конечно, в крайнем случае разбудили бы, но пока ничего такого нет. Шевелиться – шевелятся, это да. Вот извольте бинокль.

Сабуров взял из рук Ремизова бинокль и долго просматривал ту сторону оврага. То здесь, то там перебежали люди. В просветах между домами промелькнул один, потом другой танк.

- Бомбили уже? - спросил Сабуров.

- У нас нет. Тот, левый берег бомбили. Все «катюш» ловят. «Катюши», как всегда, арии пели утром. Отдохнули?

- Вполне.

- Сегодняшний день вы у меня прямо как прикомандированный офицер Генерального штаба - можете наблюдать за общим ходом боя. Впрочем...

Ремизов, прихрамывая, отвел Сабурова в сторону, они вышли из блиндажа и оба прислонились к стене окопа.

- Впрочем, - повторил Ремизов, - хорошо, если бы вы прошли на правый фланг. У меня такое чувство, что они сегодня мной не интересуются, я для них уже отрезанный ломоть. Считают, что всегда успеют разделаться. Но все же, на всякий случай, пойдите. У меня на правом фланге слабенько, - лейтенант Галышев батальоном командует, совсем мальчик. Всех поубивало вчера, что сделаешь? До вечера понаблюдайте там от моего имени. Если надо будет, команду примете. А ночью вместе пробиваться будем. Тут уж я вас от себя никуда... Хорошо?

- Хорошо, - согласился Сабуров, удивляясь той непринужденной мягкости, с какой разговаривал Ремизов, хотя совершенно ясно было, что он приказывает.

- Ну-ка пойдете в блиндаж, - быстро сказал Ремизов, когда тяжелый снаряд разорвался наверху, в сотне шагов от них. Он потянул за рукав Сабурова. - Мне кажется, они очень хорошо знают, где мой наблюдательный пункт, но сверху меня не пробьешь, а чтоб в эти окошечки прямое попадание было, нужно пушечку выкатить прямо на ту сторону оврага, напротив меня. Вот тогда попадут. Они уже два раза выкатывали, но мы сшибали. А в третий раз боятся. Ночью, правда, попробовали, но попасть не могут. Они ведь артиллеристы изрядно плохие. Вот, слышите, все по нас...

- Хорошо, - согласился Сабуров, удивляясь той непринужденной мягкости, с какой разговаривал Ремизов, хотя совершенно ясно было, что он приказывает.

- Ну-ка пойдете в блиндаж, - быстро сказал Ремизов, когда тяжелый снаряд разорвался наверху, в сотне шагов от них. Он потянул за рукав Сабурова. - Мне кажется, они очень хорошо знают, где мой наблюдательный пункт, но сверху меня не пробьешь, а чтоб в эти окошечки прямое попадание было, нужно пушечку выкатить прямо на ту сторону оврага, напротив меня. Вот тогда попадут. Они уже два раза выкатывали, но мы сшибали. А в третий раз боятся. Ночью, правда, попробовали, но попасть не могут. Они ведь артиллеристы изрядно плохие. Вот, слышите, все по нас...

Они переждали налет в блиндаже.

- Ну теперь, наверное, на четверть часика передышку сделают. Идите, вас автоматчик проводит.

Землянка командира батальона была вырыта так же, как и наблюдательный пункт у Ремизова, под фундаментом разбитого дома, и из нее назад вел точно такой же глубокий ход сообщения.

Командир батальона Галышев, как и рекомендовал его Ремизов, оказался совсем молодым парнем, только недавно выпущенным из военного училища. Впрочем, он приобрел уже фронтовые привычки, и когда они с Сабуровым присели у выхода из блиндажа, Галышев, вытащив из-за голенища кисет, скрутил таких размеров самокрутку, что Сабуров невольно улыбнулся.

- Дайте и мне, не курил со вчерашнего вечера.

- Где командир батальона? - слышался сзади них знакомый голос.

- Здесь, - сказал Галышев и радостно улыбнулся. - Здесь, Анечка, я теперь командир батальона.

Сабуров повернулся и встретился глазами с Аней.

Аня, которая, входя, рылась в своей санитарной сумке, сразу удивленно и устало опустила руки и теперь стояла, безмолвно глядя на Сабурова.

- Аня, - сказал он и шагнул к ней.

Она продолжала стоять неподвижно. Только подняла на него глаза. В них стояли крупные слезы.

- Как, вы здесь? - наконец спросила она. - Когда вы пришли?

- Ночью.

- Это, значит, вы пришли из дивизии, да?

- Я, - ответил Сабуров.

- А мы все думали, кто бы мог прийти. Но я не думала, что это вы. - Она была так удивлена и взволнована, что впервые за последнее время снова обращалась к нему на «вы».

Он стоял и молча смотрел на нее.

- У вас раненные есть? - повернулась Аня к Галышеву.

- Есть двое.

- Сейчас мы их в овраг снесем. Значит, вы здесь? - Она смотрела на Сабурова так, словно все еще не могла в это поверить.

- Здесь.

Не меняя выражения лица, она потянулась, обняла его за шею обеими руками, коротко поцеловала в губы и снова опустила руки.

- Как хорошо, - сказала она. - Я очень боялась.

- Я тоже, - сказал Сабуров.

Галышев молча наблюдал за этой сценой.

- Сейчас пойдем, - еще раз сказала ему Аня и подвинулась к Сабурову.
- Ты что, насовсем здесь? - Теперь, после поцелуя, она, словно оправившись от болезни, во время которой у нее отшибло память, стала ему говорить опять «ты».
- Нет, - сказал Сабуров. - Как только соединимся, вернусь к себе.
- Проводи меня немного по окопу. Там меня санитары ждут.
- Сейчас я приду, товарищ лейтенант, - сказал Сабуров Галышеву и пошел вслед за Аней.

За поворотом, там, где Галышеву уже не было их видно, Аня взяла Сабурова за ремень и спросила:

- Ты ничего не говорил?
- Что не говорил?
- Чтобы вместе. Я очень хочу, чтобы вместе. Я тебе не говорила, но очень хочу...
- Пока не говорил.
- Мне показалось, когда мы с тобой сюда, на этот берег, переехали, что здесь не до того, чтобы говорить. И тебе показалось?
- Да.
- Но ведь теперь так все время будет. А может быть, и хуже. И здесь и там у тебя, везде одинаково.
- Да.
- Так почему тебе стыдно попросить?
- Мне не стыдно, - сказал Сабуров. - Я попрошу.
- Попроси... Очень страшно было, когда вчера нас совсем отрезали. Я подумала, что, может быть, больше тебя никогда не увижу. Я хочу вместе. Нет, нет, не слушай, делай как хочешь. Но я все-таки хочу вместе. Вот если бы сейчас сюда бомба попала, мне это не страшно, потому что вместе. Я храбрее буду, если мы вместе, понимаешь? И ты, наверное, тоже. Да?
- Наверное, - с некоторым колебанием сказал Сабуров, подумав, что, если Аня будет рядом с ним, может быть, он действительно меньше будет бояться за себя, но за нее, пожалуй, будет бояться еще больше.
- Наверное, - не заметив его колебания, повторила Аня, - я знаю, у тебя так же, как у меня. А у меня так. Ну, я пойду раненых переносить. Тебе нельзя отсюда уйти?
- Нельзя.
- Я знаю. Ты не представляешь, сколько их у нас сейчас в овраге, никогда не было столько. Это потому, что через Волгу переправиться нельзя. Я пойду, - еще раз сказала она, протянув Сабурову руку.

Только сейчас Сабуров заметил, что у нее другая шинель – не та, в которой он видел ее раньше.

– Откуда у тебя эта шинель?

– Это не моя, мне с убитого дали. Вот видишь, – и она показала на маленькую дырочку на левой стороне груди. – А так совсем целая. В мою мина попала и изорвала в кусочки.

– Как мина?

– Мне жарко было, когда я вчера раненых выносила, я сняла ее и сложила аккуратненько – знаешь, как на койке шинель складывают, – а в нее как раз мина угодила.

Сабуров задержал ее руку в своей. Он увидел, что шинель ей не по росту и рукава подвернуты. Сукно натерло ей руку, и там, где был край рукава, на руке остались поперечные ссадины.

– Ну-ка дай другую, – сказал он.

На другой руке было то же самое.

– Видишь, как натерла, – заметил Сабуров. – Ты скажи, чтобы тебе дали другую шинель.

– Хорошо.

– Непременно скажи.

Он крепко сжал ее руки в своих, поднес к губам и по несколько раз поцеловал каждую руку там, где были ссадины.

– Ну иди, – сказал он. – Я увижу Проценко и попрошу, чтобы мы были вместе.

– Он не откажет, – сказала Аня. – Ни за что не откажет.

Она глубоко засунула руки в карманы, наверное, чтобы Сабурову больше не было ее жалко, и пошла по ходу сообщения.

Проведя у Галышева почти спокойный день, Сабуров, когда стемнело, возвратился на командный пункт к Ремизову. Ремизов курил, полулежа на койке. Поодаль сидел начальник штаба.

В блиндаже была тишина, какая бывает, когда все уже решено и подготовлено, больше никаких распоряжений отдавать не нужно и остается только дожидаться назначенного часа.

– Майора Анненского, – сказал Ремизов, – я оставляю здесь командовать всем остальным участком, а сам пойду со штурмовыми группами.

Начальник штаба за спиной Ремизова делал знаки Сабурову, означавшие, что пойти со штурмовыми группами должен именно он, Анненский, а полковник должен как раз остаться, потому что он ранен и идти ему бессмысленно. Так, по крайней мере, понял его Сабуров.

– Что вы там жестикулируете? – не поворачиваясь, спросил Ремизов. – Я не вижу, но чувствую. Меня вы не уговорите и напрасно капитану знаки подаете, он меня тоже не уговорит, да и уговаривать не будет. Да, капитан?

– Так точно, – сказал Сабуров, зная по себе, что в таких случаях спорить бессмысленно. – Но

мне, надеюсь, разрешите находиться при вас?

- Как с утра условились, уговор дороже денег. Будете со мной, скорей до своих доберетесь.

- А вы, Семен Семенович, - обратился Ремизов к Анненскому, - хороший командир, но вам уже пора полк получать. Серьезно. Я так генералу и скажу при случае. У вас слишком много темперамента для начальника штаба. Начальник штаба должен быть расположен к некоторому уединению, к блиндажу в пять накатов... Да, да, я без иронии вам говорю. А вы, если вашего командира полка обстреляли за день три раза, а вас только два, уже считаете, что вы позорно окопались и что вам необходимо поскорее лично сходить в атаку, чтобы восстановить свое душевное равновесие. И не спорьте со мной: вам пора на командную должность. И если вам попадется такой же начальник штаба, как мне, и вам придется все время держать его за фалды, чтобы не убежал на передовую, вот тогда вы меня поймете и посочувствуете. - Ремизов рассмеялся.

Анненский молчал, обескураженный неожиданным оборотом разговора. Подозвав Шарاپова, Ремизов с его помощью надел поверх гимнастерки ватник, затянулся ремнем и нахлобучил фуражку.

- Не люблю пилоток, - сказал он, поймав взгляд Сабурова. - Может, и удобней, но лихости нет. - Потом, приложив руку тыльной стороной к козырьку, проверил, правильно ли сидит фуражка, прицепил к поясу две гранаты и взял автомат. Сделав все эти приготовления, Ремизов посмотрел на часы. Сабуров, который знал из приказа Проценко, что атака должна начаться ровно в двадцать два, тоже взглянул на свои часы. Оставалось двадцать минут.

Через пять минут они уже сидели в узком, спускавшемся к Волге овражке с нарытыми по откосам окопами - здесь по приказу Ремизова сосредоточивались штурмовые группы.

Люди сидели в окопах, держа в руках оружие, прислонившись к земляным стенкам и друг к другу. Разговоры велись шепотом. В одну сторону до немцев было метров двести, зато в другую, насколько позволяли судить дневные расчеты, всего полсотни. Разговаривали только тогда, когда над головой, вереща, проходил У-2.

Люди сидели в окопах, держа в руках оружие, прислонившись к земляным стенкам и друг к другу. Разговоры велись шепотом. В одну сторону до немцев было метров двести, зато в другую, насколько позволяли судить дневные расчеты, всего полсотни. Разговаривали только тогда, когда над головой, вереща, проходил У-2.

- Опять королевская авиация полетела, - сказал кто-то рядом с Сабуровым, когда еще один У-2 прожужжал над оврагом.

- Кукурузник.

- А у нас на Северо-Западном его лесником звали.

- Где как. Где какая природа...

- Через три минуты должна начаться артподготовка, - сказал Ремизов. - Гранат помногу взяли? - обратился он к бойцам, сидевшим рядом с ним в окопе.

- По шесть штук, товарищ полковник, - отрапортовал сержант.

- Тише, не кричи, - сказал Ремизов. - По шесть? Это ничего. А ежели стена, а за стеной немцы и не обойти ее?

- Тогда взорвем, товарищ полковник, - ответил сержант.

- А тол взяли?

- А как же, товарищ полковник!

- А чего у тебя винтовка без штыка? - спросил Ремизов одного из бойцов.

- У меня вот сестрица есть. - Боец хлопнул рукой по зазвеневшей на боку сабле.

- Казак, что ли?

- Из конного корпуса Героя Советского Союза генерал-майора Доватора.

- Что ж ты, казак, а не на коне? - усмехнулся Ремизов.

- Я про коня забыл. С лета в глаза не видел.

- Скучаешь?

- Здесь скучать нет возможности, товарищ полковник.

- Пора, - сказал Ремизов и, подозвав к себе командира роты, который непосредственно руководил атакой, спросил его, все ли готово.

- Все, - ответил тот.

- Значит, начинаете выдвигаться после первых же залпов с левого берега. Понятно?

- Так точно.

- Пора, - второй раз нетерпеливо повторил Ремизов, повернувшись лицом к Волге.

Сабуров тоже повернулся. И как раз в этот миг далеко, на левом берегу, вспыхнуло зарево, и гремящие снаряды «катюш» пронесли над головами.

Вслед за «катюшами» с левого берега заговорила артиллерия. Наши тяжелые снаряды шли прямо над головой. Впереди у немцев все небо было в красных вспышках. Когда снаряды рвались особенно близко, вспышки вырывали из тьмы то угол дома, то обломок стены, то железные лохмотья изуродованных бензиновых цистерн. Штурмовые группы стали вылезать из оврага и выползть вперед. Один тяжелый снаряд разорвался совсем близко от оврага.

- Недолет, - сказал Ремизов. - Ну что ж, пойдете.

Он с неожиданной легкостью вылез из окопа и, не оглядываясь, пошел вперед. Сабуров двинулся вслед за ним. Рядом пошли Шаратов и четыре автоматчика.

Наш артиллерийский налет продолжался. На немецких позициях и далеко в глубине все грохотало от разрывов тяжелых снарядов. Подожженные «катюшами», горели остатки бензина или нефти, красные языки пламени поднимались к небу.

Но и немцы понемногу начинали отстреливаться; мины уже несколько раз проносились над головой Сабурова и разрывались позади. Потом заговорили пушки. И наконец впереди послышались автоматные очереди.

Штурмовые группы быстро миновали полосу от оврага до своих старых окопов, в которых сейчас сидели немцы. Этот участок, отбитый вчера немцами, был хорошо известен Сабурову. Он представлял собою квадрат примерно триста на двести метров. Все было изрыто окопами и ходами сообщения, и лишь кое-где почти на голом месте торчали развалины и обломки. Когда-то здесь были бензохранилища, от которых теперь остались только фундаменты и огромное количество раскиданного повсюду рваного листового железа.

Сабуров несколько раз наступал на перегоревшие железные листы, которые со страшным грохотом коробились под ногами. Впереди были остатки каменной сторожки. Туда устремился Ремизов, а вслед за ним и Сабуров. У самых развалин кто-то из бежавших сзади Сабурова тяжело, со стуком, упал на землю. В развалинах несколько человек уже устанавливали два пулемета.

- Вот правильно, - одобрил Ремизов. - Гаврилов?

- Я, товарищ полковник.

- Выходит, взяли?

- Взяли, товарищ полковник.

- А дальше двигаются?

- Двигаются.

- Иди вперед. Передай, что я буду здесь.

Около сторожки свистели и шлепались пули. Слева, совсем близко, слышались взрывы гранат. Справа продолжали стрелять, но взрывов не было: до гранатного боя там еще не дошло.

- Ах, негодяи! Ах, негодяи! - возмущался Ремизов. - Залегли ведь. Раз гранаты не рвутся, значит, залегли. Командира, что ли, убило? Сабуров, идите туда. Любыми средствами поднимите.

Сабуров вылез из сторожки и пополз направо, в темноту. Действительно, командир там был убит. Бивший из развалин немецкий станковый пулемет не давал возможности подойти. Но заминка произошла не из-за того, что убили командира, а из-за того, что три сапера поползли в обход с толом, чтобы подложить заряд под развалины дома, на втором этаже которого находился пулемет. Остальные ждали взрыва, чтобы двинуться дальше. Распорядился всем какой-то старшина, который, когда Сабуров к нему подполз, объяснил ему суть происходящего:

- Если не взорвут, и так пойдем, товарищ капитан, а то людей жалко - пообождем немного.

Сабуров согласился и несколько минут лежал рядом со старшиной и ждал. Кругом шел ночной бой, как всякий ночной бой, похожий на уравнение со многими неизвестными.

«Что сейчас делается у Проценко?» - подумал Сабуров. Судя по грохоту взрывов и частой сетке трассирующих пуль, на участке, где должен был наступать Проценко, тоже шел бой. Наши снаряды с левого берега все еще проносились над головами, но разрывались они теперь далеко

в немецком тылу. Разрывы гремели беспрестанно через каждые одну-две секунды, и Сабуров на мгновение представил себе, что творилось бы кругом, если бы такая канонада обрушилась сейчас не на немцев, а на него с его людьми. В сущности, этот огонь был ужасным, и, как все пехотные командиры, он от души благословлял русскую артиллерию.

Когда впереди, там, где прятался немецкий пулемет, раздался оглушительный взрыв, Сабуров и старшина подняли людей в атаку.

Дважды за ночь Сабурова осыпало комьями земли. Рукав ватника просекло автоматной очередью, и слегка обожгло левую руку. Многие из тех, с кем он пошел в атаку, уже не отзывались на голоса товарищей. Многие были ранены, сестры и санитары вытаскивали их с поля боя. Сабуров так и не сумел в темноте и горячке разглядеть, была ли среди санитаров Аня.

Но, в общем, бой сложился легче, чем можно было предполагать. Две штурмовые группы на правом фланге, которые по ходу боя пришлось взять под свою команду Сабурову, довольно быстро заняли приходившиеся на их долю окопы. Когда Сабуров пошел после этого очищать траншеи, уходившие влево, в одной из них он столкнулся с шедшими навстречу автоматчиками. Это были бойцы одной из левофланговых штурмовых групп. Значит, весь участок был взят целиком.

- А как там, еще левей? - спросил Сабуров. - Соединились с дивизией?

- Вроде как соединились, товарищ капитан, - сказал автоматчик, к которому он обращался, - дали жару фрицам.

Сабуров подумал, что главные неприятности еще предстоят утром. И даже то, что немцы были ночью сравнительно легко выбиты, не предвещало ничего хорошего. Очевидно, они не ввели в бой свои резервы, решив отложить это на утро.

Сабуров в темноте проверил, кто остался в живых, вместе со старшиной расположил пулеметы и кое-где приказал углубить окопы и восстановить обвалившиеся от взрывов гранат амбразуры. Потом он послал двух связных с записками - к Ремизову и к начальнику штаба. Он писал, что с рассветом ждет контратаки, остается здесь и просит скорее подбросить противотанковые ружья. «И если можно, - добавил он в конце обеих записок, - хотя бы одну противотанковую пушку».

От Ремизова связной не вернулся. От Анненского, когда уже начинало сереть, прикатили вручную две 45-миллиметровые пушчонки на резиновом ходу и пришли пять бронбойщиков со своими длинными «дегтяревками» и полтора десятка автоматчиков. В записке, которую принес связной, Анненский писал: «Наскреб все, что мог. Держитесь».

XX

С восьми утра, когда рассвело и началась первая немецкая атака, и до семи вечера, когда стемнело и все кончилось, прошло одиннадцать томительных часов.

Когда на этом участке дивизию в последнюю неделю оттеснили к самому берегу, Проценко постарался укрепиться здесь особенно тщательно. Вся площадь была изрыта окопами, ходами сообщения, под остатками фундаментов были вырыты многочисленные норы и блиндажи, а впереди тянулся неширокий, но довольно глубокий овраг, через который немцам, чтобы

достичь наших позиций, необходимо было так или иначе перебираться.

Если бы можно было начертить кривую нарастания звуков на поле боя, то в этот день она бы, как температура у малярийного больного, три раза стремительно лезла вверх и падала вниз.

Утром немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились полковые тяжелые минометы, потом дивизионная артиллерия, потом тяжелые штурмовые орудия, потом началась свирепая бомбежка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался, и под неумолчную пулеметную трескотню немцы пошли в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах, – все прильнули к пулеметам, автоматам и винтовкам. Овраг, который еще неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас еще раз оправдал свое название. Некоторые из немцев не добежали до окопов всего десять-пятнадцать метров. Казалось, еще секунда – и они проскочат это пространство. Но они не проскочили. Ужас смерти в последнюю секунду охватил тех, которые почти добежали, и заставил их повернуть обратно. Если бы ужас смерти не повернул их, они бы добежали. Но они повернули, и тот, кто не был убит, когда бежал вперед, был убит на обратном пути.

Утром немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились полковые тяжелые минометы, потом дивизионная артиллерия, потом тяжелые штурмовые орудия, потом началась свирепая бомбежка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался, и под неумолчную пулеметную трескотню немцы пошли в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах, – все прильнули к пулеметам, автоматам и винтовкам. Овраг, который еще неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас еще раз оправдал свое название. Некоторые из немцев не добежали до окопов всего десять-пятнадцать метров. Казалось, еще секунда – и они проскочат это пространство. Но они не проскочили. Ужас смерти в последнюю секунду охватил тех, которые почти добежали, и заставил их повернуть обратно. Если бы ужас смерти не повернул их, они бы добежали. Но они повернули, и тот, кто не был убит, когда бежал вперед, был убит на обратном пути.

Когда первая атака не удалась, все началось сначала. Но если в первый раз этот ад продолжался два часа, то во второй раз он продолжался уже пять с половиной часов. Немцы решили не оставить живого места на берегу. Весь берег был до такой степени изрыт воронками, что, если бы все снаряды, мины и бомбы разорвались одновременно, здесь действительно не осталось бы в живых ни одного человека. Но снаряды рвались в разное время, и там, где только что разорвался один, в воронке уже лежали и стреляли люди, а там, где разрывался следующий, их не было, и эта смертельная игра в прятки, продолжавшаяся пять с половиной часов, кончилась тем, что, когда на исходе шестого часа немцы пошли во вторую атаку, оглохшие, полузасыпанные землей, черные от усталости бойцы поднялись в своих окопах и, ожесточенно, в упор расстреливая все, что показывалось перед ними, отбили и эту атаку.

После недолгой тишины кривая грохота опять полезла вверх. Самолеты заходили по пять, по десять, по двадцать раз и пикировали так низко, что иногда их подбрасывало вверх воздушной волной. Не обращая внимания на зенитный огонь, они штурмовали окопы, и фонтанчики пыли поднимались кругом так, словно шел дождь.

Бомбы, фугасные и осколочные, большие и маленькие, бомбы, вырывающие воронки глубиной в три метра, и бомбы, которые рвались, едва коснувшись земли, с осколками, летящими так низко, что они брили бы траву, если бы она здесь была, – все это ревело над головой в течение почти трех часов. Но когда в шесть часов вечера немцы пошли в третью атаку, они так и не перепрыгнули через «овраг смерти».

Сабурову впервые пришлось видеть такое количество мертвецов на таком маленьком пространстве.

Утром, когда после прихода подкрепления Сабуров пересчитал своих людей, у него было – он твердо запомнил эту цифру – восемьдесят три человека. Сейчас, к семи часам вечера, у него осталось в строю тридцать пять, из них две трети легкораненых. Должно быть, то же самое было и слева и справа от него.

Окопы были разворочены, ходы сообщения в десятках мест прерваны прямыми попаданиями бомб и снарядов, многие блиндажи выломаны и вздыблены. Все уже кончилось, а в ушах все еще стоял сплошной грохот.

Если бы Сабурова когда-нибудь потом попросили описать все, что с ним происходило в этот день, он мог бы рассказать это в нескольких словах: немцы стреляли, мы прятались в окопах, потом они переставали стрелять, мы поднимались, стреляли по ним, потом они отступали, начинали снова стрелять, мы снова прятались в окопы, и когда они переставали стрелять и шли в атаку, мы снова стреляли по ним.

Вот, в сущности, все, что делал он и те, кто был с ним. Но, пожалуй, еще никогда в своей жизни он не чувствовал такого упрямого желания остаться в живых. Это был не страх смерти и не боязнь, что оборвется жизнь такая, какая она была, со всеми ее радостями и печалью, и не завистливая мысль, что для других придет завтра, а его, Сабурова, уже не будет на свете.

Нет, весь этот день он был одержим одним-единственным желанием высидеть, дожидаться той минуты, когда наступит тишина, когда поднимутся немцы, когда можно будет самому подняться и стрелять по ним. Он и все окружавшие его трижды за день ждали этого момента. Они не знали, что будет потом, но до этой минуты они каждый раз хотели дожить во что бы то ни стало. И когда в седьмом часу вечера была отбита последняя, третья атака, наступила короткая тишина, и люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они кричали, стреляя в немцев, – то эти слова оказались неожиданно тихими. Люди почувствовали, что случилось нечто необычайно важное, что они сегодня сделали не только то, о чем потом будет написано в сводке Информбюро: «Часть такая-то уничтожила до 700 (или 800) гитлеровцев», а что они вообще победили сегодня немцев, оказались сильнее их.

В половине восьмого, уже в темноте, в окоп к Сабурову пришел Анненский. Сабуров сидел, прислонившись спиной к стенке окопа, и лениво ковырял вилкой в банке с консервами, пытаясь убедить себя, что он голоден и надо поесть, хотя есть ему совсем не хотелось.

– Отбились, – сказал Анненский.

Лицо у него было такое же черное и усталое, как у всех, – наверно, там, где был Анненский, сегодня происходило то же, что и здесь.

– Здесь отбились, – сказал Сабуров. – А как вообще?

– И вообще отбились, – ответил Анненский. – Я пришел с лейтенантом, он вас сменит, – вас генерал срочно вызывает.

– А там как? – спросил Сабуров.

– Тоже отбились.

- А где Ремизов?

- Отнесли в блиндаж.

- Опять ранили?

- Нет, - сказал Анненский. - Полчаса назад, как только все кончилось, в обморок хлопнулся. Легко ли с таким ранением сутки на ногах! Идите к генералу. Он на новое капе перешел - метров триста отсюда, на самом обрыве.

Сабуров пошел по ходу сообщения. Два или три раза ему пришлось переступить через засыпанные землей, еще не убранные тела своих бойцов. Пройдя шагов четыреста, Сабуров увидел Проценко. Проценко стоял на краю обрыва. Он был в таком же, как и все, ватнике, но в генеральской, с красным околышем, фуражке, недавно привезенной ему с того берега. Немного поодаль двое бойцов тесали бревна для накатов.

- Сабуров, это ты? - крикнул Проценко еще за десять шагов.

- Я, товарищ генерал.

Проценко сделал три шага навстречу, остановился и, против обыкновения, очень официально сказал:

- Товарищ Сабуров, благодарю вас от лица командования.

Сабуров вытянулся.

- Я вас представил к ордену Ленина, - сказал Проценко. - Вы его заслужили. И я хочу, чтобы вы знали об этом.

- Очень большое спасибо, - неожиданно для себя не по-уставному ответил Сабуров и улыбнулся.

Проценко тоже улыбнулся и, обняв Сабурова, тихо похлопал его по плечу.

- Живой?

Сабуров не ответил. Что сказать на это?

- Когда-нибудь мы с тобой, Алексей Иванович, еще вспомним этот день, - сказал Проценко. - Помяни мое слово. Может быть, кто и другой день вспомнит, а мы именно этот.

Сабуров молча кивнул.

- Вот командный пункт сменил, - сказал Проценко. - Тут раньше штаб батальона был, я приказал расширить для себя. Они завтра сюда главный удар направят. А мы не отступим. Сегодня все это почувствовали - я знаю: и ты, и я, и все почувствовали. Так я это чувство у людей закрепить хочу собственным пребыванием. Понимаешь?

- Понимаю, - ответил Сабуров. - Только у вас там удобнее было.

- Там удобнее, но я и здесь ведь прочно устраиваюсь. Смелость смелостью, а четыре наката над головой у командира дивизии все равно должно быть. Должен тебя огорчить: убит Попов... С Ремизовым теперь, можно считать, познакомился?

- Познакомился.
- Будет у вас командиром полка вместо Попова.
- А у них?
- Там Анненского оставляем. Это – во-первых. Во-вторых, пришлось ослабить вчера полки, чтобы штурмовые группы выделить. Ну и заплатили за это – кое-где потеснили нас. И твой батальон потеснили. Дивизия опять вся вместе, а к берегу нас поплотней прижали, пять домов отдали.
- И у меня тоже? – спросил Сабуров с тревожным чувством человека, которому еще не сказали самых неприятных известий.
- Да. Мой грех – слишком много твоих людей взял, но не взял бы – не соединились бы с Ремизовым. В общем, там, где у тебя командный пункт, теперь передовая. А Г-образный дом немцы забрали.

Проценко говорил спокойным тоном, но было заметно, что он чувствует за собой как бы некоторую вину перед Сабуровым, – что взял у него из батальона и людей, и его самого, и теперь Сабурову может казаться, что, будь он там, это бы не случилось, хотя все это вполне могло случиться и при нем.

- В общем, иди в батальон и стой там, где зацепились, это главное. Не огорчайся. – Проценко похлопал по плечу упорно молчавшего Сабурова, – важнее, что вся дивизия опять вместе – это подороже, чем твой дом. Да, кстати, старые мы сослуживцы с тобой, а не знал, что ты такой скрытный.
- Почему скрытный? – удивился Сабуров.
- Конечно, скрытный. Я у тебя в батальоне был. Мне там все рассказали.
- Что рассказали? – все еще продолжая не понимать, спросил Сабуров.
- Женился, говорят.
- А, вот что. – Сабуров только теперь сообразил, что имел в виду Проценко, так далеко от этого были сейчас его мысли. – Да, женился.
- Говорят, даже свадьбу хотел устроить. Так бы и устроил, а меня не пригласил?
- Не устроил бы, – сказал Сабуров. – Просто разговоры были. Хотелось, чтобы так было.
- А почему этого не может быть? Я эту девушку знаю. Даже орден ей выдавал. У тебя фельдшер в батальоне есть?
- Последнее время нет. Убили, пока я в медсанбате был.
- Могу ее фельдшером к тебе в батальон. Раз по штату положено.
- Мне даже врач по штату положен, – сказал Сабуров.
- Мало ли что кому положено. Тебе в батальоне положено восемьсот штыков иметь, а где они у

тебя? А фельдшера могу дать, только с условием...

- С каким?

- Меня на свадьбу позвать. И еще одно. Для тебя она жена, а для батальона фельдшер и никакого касательства к батальонным делам, кроме как по санитарной части, иметь не вправе. А то жены иногда советы подавать начинают... Так вот этого на войне быть не может.

- По-моему, тоже, - сказал Сабуров. - Если сомневаетесь, пусть остается там, где сейчас.

- Я не сомневаюсь, - сказал Проценко. - Просто подумал и сказал. Иди к себе. Тебя там уже заждались Масленников твой.

- А кто же вам все-таки рассказал о моих личных делах, товарищ генерал?

- Кому по штату положено, тот и рассказал. Ванин рассказал. - Проценко протянул Сабурову руку. - Думаю, немцы завтра повторят. Но если сегодня у них не вышло, завтра тем более не выйдет. Однако учти - если Волга еще два дня не станет, снаряды и мины на этом берегу кончатся. Экономь. И паек экономь!

XXI

Ночь была темная. Вдали шлепались случайные мины, и именно потому, что разрывы были редки и неожиданны, Сабуров несколько раз вздрогнул. Добравшись до своего батальона, он встретил бойца, который узнал его.

- Здравствуйте, товарищ капитан.

- Здравствуйте, - сказал Сабуров. - Проводите меня на командный пункт. Где он теперь, знаете?

- А где был, там и есть, - ответил боец.

Когда Сабуров подошел к блиндажу и увидел в окопе знакомую фигуру Пети, ему показалось, что он пришел домой.

- Товарищ капитан! - обрадовался Петя. - А мы-то уж вас ждали...

- Вы бы меньше ждали, да лучше воевали, - сказал Сабуров, стараясь скрыть свою растроганность. - Дом отдали.

- Это верно, - согласился Петя. - Очень уж навалились, а то бы не отдали. Сил не было. Сорок человек генерал от нас забрал.

- Не только у вас забирали.

- Так и других потеснили, - обиженно сказал Петя. - Не было человеческой возможности... А уж комиссар и Масленников вас ждали, ждали.

- Где они?

- Товарищ Ванин здесь.

- А Масленников?
- А Масленников, как темнеть стало, пошел в дом. Туда теперь днем не пройдешь,
- А до немцев отсюда сколько теперь?
- Слева далеко, как были, а с этой стороны, - Петя кивнул направо, - шестидесяти метров не будет. Все слышно.
- Много народу потеряли? - спросил Сабуров.
- Одиннадцать убитых, тридцать два раненых. И Марью Ивановну убило.
- А дети?
- И детей. Всех вместе. Прямо в их подвал бомба. Одна воронка - и кругом ничего.
- Когда это?
- Вчера.

Сабуров вспомнил, как эта женщина давно, теперь казалось, целую вечность назад, сказала ему равнодушным голосом: «А если бомба, так пусть - один конец всем, вместе с детьми».

И вот ее пророчество исполнилось.

- Да, много ты мне всего наговорил, - сказал Сабуров. - Лучше бы меньше, - и, подняв плащ-палатку, вошел в блиндаж.

Ванин дремал за столом. Он писал политдонесение и так и заснул, уронив голову на бумагу и разбросав по столу руки. «Отрицательных случаев морально-политического поведения нет» - была последняя фраза, которую успел дописать Ванин, засыпая.

- Ванин, - позвал Сабуров, постояв над ним. - Ванин!

Тот вскочил.

- Ванин, - повторил Сабуров, - это я!

Ванин долго тряс ему руку, глядя на него, как на выходца с того света.

- А мы уже за тебя тревожились, - сказал он.
- У вас тут, кажется, некогда было тревожиться.
- Представь себе, нашли время. Черт тебя знает, что-то такое в тебе есть, что скучно без тебя. Будто из комнаты печку вынесли.
- Спасибо за сравнение, - улыбнулся Сабуров.
- Между прочим, дело к холодам, так что напрасно обижаешься: печка - теперь самая необходимая техника, чтоб согреть живую силу.
- Тем более, когда эта техника топится.

Сабуров сел на койку, стащил сапоги и портянки и протянул ноги к огню.

- Хорошо, - сказал он. - Очень хорошо. Нажаловался на меня генералу?

Ванин рассмеялся:

- Нажаловался. Я же комиссар. Увидел, что у тебя душа не на месте, и нажаловался.

- У всех душа не на месте, - сказал Сабуров, - и раньше, чем война не кончится, она на место не встанет... Что Масленников, вперед ушел?

- Да.

- К утру вернется?

- Должен. Если к утру не вернется, значит, до следующего вечера. Туда и оттуда днем не пройдешь.

- Кто ж там остался в доме?

- Человек пятнадцать. И Конюков за коменданта. Потапов-то убит.

- Ну?

- Убит. Конюкова я в критическую минуту своей властью командиром роты назначил. Больше некого было. Когда нас вышибли, он с тем, что от роты осталось, засел в доме.

- Неужели пятнадцать человек всего во второй роте?

- Нет, - сказал Ванин, - еще человек десять здесь есть. Они с двух сторон отошли, а он в доме остался. Если точно - двадцать шесть человек во второй роте.

- А в остальных?

- В остальных немножко больше. На, смотри.

На листочке бумаги было расписано наличие людей по всем ротам.

- Да, много потеряли. А где передний край теперь проходит?

- Вот, пожалуйста. - Ванин вынул план.

На плане было нанесено расположение батальона. Батальон уже не выдавался уступом вперед, как это было раньше, а после потери Г-образного дома стоял на одной линии с остальными батальонами, вдоль правой стороны разрушенной улицы, и только один дом, номер 7, обведенный на плане пунктиром, языком выходил вперед.

- В сущности, дом в окружении, - сказал Ванин. - Немцы днем не пускают. Ползаем ночью.

- Когда всю улицу обратно придется брать, будет хороший опорный пункт для продвижения, - сказал Сабуров. - Надо его удержать.

- Когда обратно брать будем... - протянул Ванин. - Боюсь, далеко еще до этого. Дай бог удержаться там, где сидим.

- Конечно, - согласился Сабуров, - я об этом и говорю, что дай бог удержаться. А удержимся, так и обратно возьмем.

- Ты что-то веселый вернулся, - сказал Ванин.

- Да, веселый, - сказал Сабуров. - Это ничего, что один дом отдали. То есть плохо, конечно, но ничего. А что удержались сегодня на берегу и не пустили их к Волге, это самое главное. И дальше не пустим.

- Убежден? - спросил Ванин.

- Убежден, - ответил Сабуров.

- А почему убежден?

- Как тебе сказать? Могу привести некоторые логические доводы, но не в них дело. Верю в это. Такое сегодня выдержали, чего раньше не выдержали бы. Сломалось у них что-то. Знаешь, как игрушка заводная. Заводили, заводили, а потом - крак - и больше не заводится.

- Рад слышать это от тебя. А мы тут с этим домом так огорчились, что ни вчера, ни сегодня никаких чувств у нас, кроме горькой досады, не было.

Ванин поднялся и, прихрамывая, прошелся по блиндажу.

- Ты что хромаешь?

- Ранен. Ничего, до свадьбы заживет - до моей, конечно, твоя, говорят, не за горами.

- Кто говорит?

- Проценко. Как Масленников вернется, мальчишник устроим. Без мальчишника все равно не дадим тебе жениться.

- Не возражаю, только у Пети с запасами, наверное, слабовато. А, Петя?

- Как-нибудь уж постараюсь, товарищ капитан, - сказал Петя и, открыв флягу, налил водки в кружки, стоявшие перед Ваниным и Сабуровым.

Но не успели они поднести кружки к губам, как плащ-палатка поднялась, и Масленников, веселый, шумный, растрепанный Масленников, появился на пороге блиндажа.

- Подождите, - поднял он руку. - Что вы делаете? Без меня?

Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе и снова расцеловал, - все в одну минуту. Потом плюхнулся на третью, стоящую у стола табуретку и басом крикнул:

- Петя, водки мне!

Петя налил ему водки.

- За Сабурова, - произнес Масленников. - Чтобы он скорее стал генералом.

Но Ванин, подняв кружку, улыбнулся своей грустной улыбкой и возразил:

- А я за то, чтобы он поскорее стал учителем истории.

- Значит: или - или, - сказал Сабуров. - А я готов всю остальную жизнь быть поливальщиком улиц, если бы из-за этого война кончилась хоть на день раньше. Разумеется - победой. Может, за нее и выпьем? - Он выпил залпом и, переведя дух, добавил: - А что до учителей, то после войны все мы понемножку будем учителями истории... Ну как там в доме, а? - повернулся он к Масленникову.

- В доме правит Конюков; объявил себя начальником гарнизона, нацепил старый Георгий и говорит, что носит его в ожидании, когда комбат выдаст законно причитающийся ему, согласно приказу командующего, орден Красной Звезды. Петя, что смотришь? - крикнул Масленников. - Кружки пустые.

Сабуров искоса посмотрел на Масленникова, но, решив, что тот все равно валится с ног от усталости и ему так или иначе надо спать, не стал возражать. Петя налил им еще по одной.

- Интересно, что Петя никогда не ошибается: всегда наливает ровно по сто грамм, - заметил Ваня.

- Точно, товарищ старший политрук.

- Я знаю, что точно. Даже если в разную посуду. Может, объяснишь секрет?

- Я разливаю не на глаз, товарищ старший политрук, а на слух. Держу фляжку под одним углом и по звуку отсчитываю: раз, два, три, четыре, пять - готово!

- Похоже, что ты после войны будешь работать в аптеке, - сказал Масленников.

- Никогда, товарищ лейтенант, - сказал Петя. - Вот уж именно - никогда! - с неожиданным жаром повторил он. - Зря вы думаете, товарищ лейтенант, что я так люблю считать каждую каплю, что даже после войны мечтаю об этом!

- А ты часом не выпил, Петя? - улыбнулся Сабуров.

- Да, товарищ капитан, когда вы выпили за победу, я тоже немного выпил, - сказал Петя. Водка, против обыкновения, ударила ему в голову, потому что еда была на исходе и он, экономя для командиров, за день съел лишь два сухаря. - После войны я буду работать по снабжению, как и работал. Но я мечтаю за такое время, когда все, что я делал когда-нибудь раньше, показалось бы людям смешным. Я считался королем, потому что мог достать пятьдесят мешков картошки или три мешка репчатого лука. Но когда-нибудь, после войны, мне скажут: «Петя, достань в рабочую столовую устриц». И я скажу: «Пожалуйста». И к обеду будут устрицы.

- А ты ел когда-нибудь этих устриц? - спросил Сабуров. - Может, они - дрянь?

- Не ел. Я только к примеру, хотел сказать что-нибудь такое, о чем вы сейчас меньше всего думаете. Налить вам еще?

- Нет, - сказал Сабуров, - довольно. - Он опустил голову на руки и задумался над тем, сколько мечтаний, мыслей о будущем, поздних раскаяний и неосуществленных желаний погребено в русской земле за эти полтора года, сколько людей, мечтавших, желавших, мысливших, каявшихся, погребено в этой земле, и никогда они уже не осуществят ничего из того, о чем

думали. И ему показалось, что все это исполнимое, но не выполненное, все задуманное, но не сделанное теми, кто теперь мертв, всей своей тяжестью ложится на плечи живых и на его плечи. Он задумался над тем, как все будет после войны, и не мог себе этого представить, так же как не мог бы себе представить до войны того, что происходило с ним сейчас.

- Чего загрустил? - спросил Ванин. - Генерал говорил с тобой?

Сабуров поднял голову.

- Я не грущу, я просто думаю. - Он рассмеялся. - Почему у нас, если кто-нибудь задумается, считают, что он грустит? Петя, возьми автомат. Сейчас пойдем с тобой.

- Куда? - спросил Масленников.

- Обойдем позиции.

- Поспите, Алексей Иванович. Утром...

- Нет, утром обходить их... мне жизнь дороже, - усмехнулся Сабуров.

- Тогда я с вами, - сказал Масленников.

- Нет, я один, - и Сабуров положил руку на плечо Масленникова. - Все, Миша. Когда командир возвращается в часть, его принимают как гостя первые полчаса, а потом хозяин снова он. Понял? Ложись спать. Ты бы тоже вздремнул, - вставая, сказал Сабуров Ванину.

- Я уже, - улыбнулся Ванин. - Никак политдонесение не кончу, три раза засыпал.

- А ты их скучно пишешь, - сказал Сабуров, - так скучно, что сам в это время засыпаешь, а представь себе, как другие засыпают, когда их читают!

Сабуров и Петя вышли из блиндажа. Масленников растянулся на койке и сразу же, по-детски посапывая носом, заснул, а Ванин сел за стол и, положив перед собой незаконченный лист политдонесения, задумался. Потом полез под койку, достал оттуда потрепанный клеенчатый чемодан и вытащил из него толстую общую ученическую тетрадь. На первой странице ее было написано: «Дневник». Сюда в редкие свободные минуты он заносил разные привлекавшие его внимание события и обстоятельства.

Он положил дневник рядом с листком сегодняшнего политдонесения и подумал, что, может быть, именно то, что он записывает в эту заветную тетрадь, и нужно было писать в политдонесениях. Разговоры, мысли, чувства, события, показывающие людей с неожиданной стороны, - все, что он записывал, потому что это было интересно ему, может быть, именно это и вообще интересно, а то, что он пишет каждый день по графам «Положительные явления», «Отрицательные явления», не особенно интересное для него, может быть, так же неинтересно и для тех, кто будет читать.

В эту минуту, приподняв плащ-палатку, в блиндаж вошла Аня.

- Здравствуйте, товарищ старший политрук, - сказала она.

Ванин поднялся ей навстречу.

- А где капитан Сабуров? - спросила Аня.

- Ушел в роту, скоро вернется.
- Разрешите обратиться к вам?
- Пожалуйста.
- Назначенная в ваш батальон военфельдшер Клименко по месту назначения явилась, - доложила Аня. Потом, опустив руку, спросила: - А Алексей Иванович скоро будет?
- Скоро.
- Хочу его поскорее увидеть.
- Сочувствую вам, - улыбнулся Ванин. - Он скоро будет. Садитесь.

Они сели и с минуту молчали.

- Не смотрите на меня так. Я никого не просила об этом.
- Знаю.
- И он не просил.
- Знаю. Я просил.
- Вы?
- Я. И прекрасно, что это вышло, что вы здесь. Мы тут с Алексеем Ивановичем часто спорили. Мы с ним очень разные люди. Но как бы вам это объяснить... Стойте, вы же меня давно знаете, - вдруг прервал себя Ванин.
- Конечно, товарищ Ванин, - сказала Аня. - Кто же из сталинградских комсомольцев вас не знает?
- Когда мы тут встретились с Сабуровым, то поспорили из-за зеленых насаждений. Помните, мы все тут зелеными насаждениями увлекались. Он мне доказывал, что, предвидя войну, мы поменьше должны были заниматься этим и побольше многим другим. И я с ним, в общем, даже согласился. Но вы помните, с каким увлечением мы это делали, как это было хорошо!
- Помню, - сказала Аня.

- Это же было счастье, - сказал Ванин убежденно, - самое настоящее счастье. Мне всегда хотелось, чтобы у всех было счастье, и все, что я делал, я делал для этого. Иногда ненужные мероприятия проводил - для этого, лишние директивы писал - все равно для этого. Так я, по крайней мере, всегда считал.

Хотя Ванин говорил путано и сбиваясь, но Аня понимала, что он говорит о том, что мучило его все это время.

- А вот сейчас, - продолжал Ванин, - хотя мне всегда казалось, что я все делал правильно и для счастья людей, сейчас я все-таки чувствую, что, наверное, прав Сабуров: может быть, меньше нужно было зеленых насаждений, меньше вольных движений на физкультурных парадах, меньше красивых слов и речей, - больше надо было топтать с винтовками и учиться стрелять. Но я же тогда так не думал, что же я теперь, задним числом, здесь, на берегу Волги, так

считаю. Вы понимаете меня?

Ванин откинул падавшие на лоб волосы, и Аня вспомнила давнее комсомольское собрание, где Ванин выступал с трибуны, горячился вот так же, как сейчас, и так же откидывал со лба назад мешавшие ему пряди. Не все, что Ванин говорил сейчас, ей было понятно; то, что он говорил, наверно, было лишь продолжением его споров с Сабуровым, но она понимала главное, что перед ней сидит очень хороший и очень добрый человек.

- Да... - снова прервал себя Ванин. - Вот и я говорю: особенно рад я, что вы будете с Алексеем Ивановичем вместе, когда кругом происходит все такое, черт его знает, страшное или нестрашное, но, в общем, трудное для человека. Хорошо, когда вместе... Вы что, прямо с вещами?

Аня улыбнулась:

- Вот вещи.

Она показала на большую, набитую до отказа санитарную сумку.

- А еще?

- А еще - все, - сказала Аня.

Она сняла шинель и присела к столу.

- А все-таки мы зеленые насаждения опять тут устроим, - сказал Ванин. - Как были, так и будут.

- Конечно, - сказала Аня, невольно вспомнив тот Сталинград, через который она шла сюда сегодня.

Масленников пошевелился под шинелью, потом быстро сел на койке, нащупал сапоги, надел их на босу ногу, встал и подошел к Ане поздороваться.

- Вот и вы, - сказал он.

Ане было приятно, что он сказал так, как будто здесь давно ждали ее.

- Кушать хотите?

Аня отрицательно покачала головой.

- Спать хотите?

Аня покачала головой.

- Ничего не хочу, - ответила она. - Я рада вас видеть.

- Завтра у нас, наверное, будет тихо, - произнес Масленников, то ли чтобы успокоить ее, то ли чтобы просто продолжить разговор.

- Моя старая комсомолка, - заметил Ванин. - «Друзья встречаются вновь», - кажется, была такая картина?

- Была, - сказала Аня.

- Давно не видел кино. Тут «Правду» получили как-то, смотрел в ней список картин в московских кинотеатрах. Даже «Три мушкетера» там идут.

- Была, - сказала Аня.

- Давно не видел кино. Тут «Правду» получили как-то, смотрел в ней список картин в московских кинотеатрах. Даже «Три мушкетера» там идут.

- Я видела «Три мушкетера», - сказала Аня, - когда совсем маленькая была.

- С Дугласом Фербенксом? - спросил Масленников.

- Да.

- Говорят, теперь другие артисты играют. Дуглас Фербенкс умер.

- Неужели? - удивилась Аня.

- Умер, давно умер. И Мэри Пикфорд умерла.

- Неужели и Мэри Пикфорд? - спросила Аня с таким огорчением, как будто это было самое печальное событие из всех, происшедших в Сталинграде за последний месяц.

- Умерла, - жестко сказал Масленников.

Собственно говоря, он не знал, умерла или жива Мэри Пикфорд, но, раз заговорили на эту тему, хотел поразить слушателей своей осведомленностью.

- А Бестер Кейтон? - с тревогой спросила Аня.

- Умер.

Ванин рассмеялся.

- Что смеешься?

- Говоришь о них, как будто пишешь сводку потерь за последние сутки.

- Очень хороший был артист, - сказала Аня.

Ей было грустно, что Бестер Кейтон умер. Она вспомнила его длинную, печальную, никогда не улыбающуюся физиономию, и ей стало жаль, что умер именно он.

- Не умер он, - сказал Ванин, посмотрев на Аню.

- Нет, умер, - горячо возразил Масленников.

- Ну ладно, пусть умер, - согласился Ванин, вспомнив о смешной стороне этого спора здесь, в Сталинграде. - Я пойду проверю посты, - добавил он, надевая шинель и этим тоже давая понять, что разговор окончен и в конце концов не так уж важно, умер или жив Бестер Кейтон.

- Там капитан уже обходит, - сказал Масленников.

- Он, может быть, в роте где-нибудь задержался, а мне все равно надо проверить...

Ванин вышел из блиндажа.

- А вы все-таки прилягте, - предложил Масленников, - Мы вам тут в углу завтра койку сколотим, а пока на моей ложитесь.

Ане не хотелось ложиться, но она не стала спорить и, стянув сапоги, прилегла на койке, плотно, до самой шеи накрывшись шинелью.

- Послушала вас, а спать не хочется, - улыбнулась Аня. - Рассказывайте, как вы здесь живете.

- Прекрасно, - ответил Масленников таким тоном, словно перед ним была не Аня, а прибывшая из Читы делегация с подарками. Потом, спохватившись, что это же была Аня, которая не хуже его знает, что здесь происходит, добавил: - Сегодня все атаки отбили. Капитан прекрасно выглядит. Мы за него тут беспокоились.

- Я тоже, - сказала Аня.

- Но его даже не поцарапало. Генерал сказал, что представил его к ордену Ленина за то, что два раза ходил к Ремизову ночью. Но что же еще? По случаю встречи выпили немного за победу. А я, про себя, и за вас выпил.

- Спасибо.

- Я очень рад, что вы здесь, - продолжал Масленников. - Знаете ли, когда все мужчины да мужчины, как-то грубеешь в этой обстановке. - Он почувствовал, что фраза у него вышла нарочито мужская, и залился румянцем. - Может, закурить хотите?

- Я не курю.

- Я тоже до войны не курил. Но в этой обстановке тянет. Время быстрее летит. Закурите.

- Ну хорошо, - согласилась Аня, понимая, что, закурив, доставит ему удовольствие.

Он вынул из кармана гимнастерки единственную лежавшую там папиросу и подал Ане, сам же стал свертывать самокрутку. Потом спохватился, что не дал спичку, вскочил, рассыпал табак из самокрутки, чиркнул спичку и поднес Ане. Она неумело закурила, быстро втягивая и сразу же выпуская дым.

- Может быть, все-таки хотите кушать? - спросил Масленников.

- Нет, спасибо.

- А воды вам принести?

- Нет, спасибо.

Масленников замолчал. Здесь под его защитой находилась жена его начальника и товарища, и он относился к ней с той трогательной предупредительностью, какая бывает только у мальчиков. Ему хотелось окружить ее заботой, дать ей понять, что он самый верный друг ее мужа, что она вполне может на него положиться и что вообще нет ничего такого, чего бы он не сделал ради нее.

Так они помолчали несколько минут.

- Миша.

- Да.

- Вы ведь Миша?

- Да.

- Вы очень хороший.

Услышав эти слова «вы очень хороший», Масленников почувствовал, что хотя они, наверное, однолетки с Аней, но она чем-то много старше его.

- Миша, - словно запоминая его имя, повторила она, закрыв глаза.

Когда Масленников о чем-то спросил ее, она не ответила. Она заснула сразу, в ту же секунду, как закрыла глаза.

Он сидел один за столом в тишине, которая изредка прерывалась далекими выстрелами. На койке, в двух шагах от него, спала женщина, жена его товарища, очень красивая (как ему казалось), в которую он бы влюбился, если бы она не была женой его товарища (так думал он), и в которую он уже был влюблен (так было на самом деле, но он бы никогда себе в этом не признался). Он почему-то вспомнил брата и шумную подмосковную дачу, куда брат его часто ездил после того, как вернулся из Испании, и потом, когда вернулся из Монголии. Должно быть, потому, что брат много раз рисковал жизнью, он любил, чтобы в эти приезды кругом него было шумно и весело. Он приезжал на дачу с красивыми женщинами, сначала с одной, потом, через год, с другой. Он был всегда шумный, веселый, и казалось, что все дается ему легко - и друзья и любовь. И Масленников замечал, что от этого брату бывало скучно. Приехав на дачу в большой компании и с женщиной, которая казалась Масленникову такой замечательной, что он бы не отошел от нее ни на шаг, брат вдруг говорил: «Мишка, пойдём на бильярд», - и они, запершись, играли по три часа на бильярде. А когда стучали к ним в дверь и женский голос звал: «Коля», - брат прикладывал к губам палец и говорил: «Тс-с, Мишка», - и они молчали, пока легкие шаги не удалялись от двери, и тогда продолжали играть снова. Брат говорил: «А ну их к господу богу», - и Масленников удивлялся: ему было это непонятно и казалось, что сам он, если бы его звал этот женский голос, не смог бы вот так промолчать и играть на бильярде. Кончив играть на бильярде, брат возвращался ко всей компании и с той женщиной, на голос которой он только что не откликнулся, бывал так нежен, что казалось, он на все для нее готов. А потом незаметно подмигивал Масленникову, как сообщнику, словно говоря: «Не в этом счастье, милый, не в этом счастье». Но Масленникову казалось, что счастье именно в этом.

Он вспомнил брата, и дачу, и бильярд. Где же брат? О нем давно уже ничего не было в газетах. И вдруг он представил себе, что брат погиб, и невольно подумал, что, если те, кто бывал тогда в шумной компании на даче, и женщины тоже, узнают о гибели брата, они, конечно, поговорят о нем, наверное, даже выпьют за него и будут вспоминать, как бывали с ним на даче, а больше, пожалуй, ничего и не произойдет. А вот если Сабуров погибнет, - что тогда сделает Аня? Она, наверное, станет совсем не такая, как сейчас, с ней произойдет что-то страшное. С теми же, кто бывал у брата, ничего страшного не сделается, и, может быть, поэтому брат уходил с ним играть на бильярде и не отзывался на их стук.

Он посмотрел еще раз на Аню, и юношеская тоска по любви - не к ней, а вообще по любви - охватила его. Ему очень захотелось дожить до конца войны, чтобы тоже приезжать к брату на

дачу, и тоже не одному, но чтобы это было совсем не так, как у брата. Он стал придумывать, какая она будет, эта женщина, но когда думал о ней вообще, то наделял ее самыми замечательными качествами, а когда воображал себе ее лицо, ему чудилось лицо Ани.

Он задремал, сидя на табуретке у стола, и вздрогнул, когда его окликнул Ванин, вернувшийся с обхода постов.

- Где Сабуров?

- Еще не приходил.

- Уже шесть часов, - сказал Ванин, - не иначе как забрался в дом к Конюкову. Нигде его больше нет.

XXII

Сабуров действительно отправился в дом к Конюкову.

Ходить туда можно было только ночью, и то большую часть пути ползком, с риском угодить под случайную пулю,

Сабуров с Петей сначала прошли вдоль полуразрушенной стены, потом свернули. Здесь Петя весь подобрался, как бы готовясь к прыжку.

- Ну как, товарищ капитан? Тут место открытое.

- Знаю, - сказал Сабуров.

- Как, поползем или махнем?

- Махнем, - ответил Сабуров.

Они выскочили из-за стены и пробежали тридцать метров, отделявших их от следующей стенки, за которой уже можно было сравнительно безопасно пробираться к дому. Немцы услышали шум, и позади запоздало ударила по камням пулеметная очередь.

- Кто идет? - тихо спросил кто-то в темноте.

- Свои, - отозвался Петя, - капитан.

Они прошли еще несколько шагов вдоль стенки.

- Сюда, - слышался тот же шепот. - Это вы, товарищ капитан?

- Я, - ответил Сабуров.

- Сюда, головой не ударьтесь.

Сабуров пригнулся и спустился на несколько ступенек вниз. Ощупью они повернули за угол и вошли в подвал.

Это была часть той самой большой котельной, из которой когда-то лейтенант Жук вылавливал спрятавшихся немцев. За два месяца времена переменялись: то место, которое раньше

считалось опасным, сейчас, в этом сровненном с землей городе, казалось комфортабельным помещением. Часть котельной обвалилась от прямого попадания пятисотки, но другая, меньшая часть, была цела.

В двух стенах, углом обращенных к немцам, были сделаны бойницы для четырех пулеметов. Лестничная клетка обрушилась, к отверстию в потолке был приставлен кусок притащенной откуда-то пожарной лестницы. Пролом в стене, образовавшийся от попадания бомбы, был загроможден обломками котлов, а там, где все-таки оставался проход, он был завешен двумя сшитыми вместе плащ-палатками. Именно отсюда, приподняв плащ-палатку, Сабуров вслед за провожатыми вошел в котельную.

В котельной было дымно. Прямо на цементном полу горела железная самодельная печка. Труба была выведена наружу, через стену, но вставлена она была неплотно, и из всех колен ее просачивался дым. Один боец сидел у печи на корточках, а пятеро или шестеро вповалку спали в углу на нарах, сооруженных из двух пружинных матрацев и нескольких дерматиновых сидений, снятых с разбитых машин.

Когда Сабуров вошел, сидевший у огня боец вскочил, откозырял и спросил:

- Прикажете разбудить Конюкова, товарищ капитан?
- Разбудите.
- Товарищ старшина, товарищ старшина! - стал расталкивать Конюкова красноармеец.

Конюков, оправляя на ходу ремень, подбежал к Сабурову.

- Разрешите доложить! - гаркнул он, остановившись за три шага. - Гарнизон дома номер семь по Татарской улице находится в боевой готовности. Больных нет. Раненых двое. Особых происшествий нет. Докладывает старшина Конюков.

- Здравствуй, Конюков.
- Здравия желаю, - отчеканил Конюков и, отступив на шаг, опять вытянулся.

Несмотря на всю его дисциплинированность, было во внешности Конюкова что-то новое, чуть-чуть партизанское, что появляется у людей, долго сидящих в осаде, постоянно рискующих жизнью и отрезанных от остального мира. Ремень у Конюкова был по-прежнему затянут так, что не просунешь двух пальцев, но ушанка была надета заливчатски набекрень, у пояса в треугольном черном футляре висел немецкий парабеллум, а на ногах красовались немецкие летные сапоги с меховыми отворотами.

И по тому, как красноармеец спросил: «Прикажете разбудить Конюкова?» - не решаясь сам произвести это действие, и вообще по царившему в гарнизоне порядку Сабуров понял, что Конюков за эти дни поставил себя здесь как положено.

- Давно не был я у тебя, Конюков. Пришел посмотреть, как живете.
- Хорошо живем, товарищ капитан.
- Скажи, пусть скамейку к печке принесут - я замерз, и садись - поговорим.
- Прикажете разбудить людей? - спросил Конюков.

- Зачем будить? Устали, наверное?
- Точно так, устали.
- Это все, что есть у тебя?
- Никак нет, не все. Половина на постах, половина спит. По очереди и воюем, если только атаки нет.
- А если атака?
- А если атака, все на постах, по расписанию. Антонов! - позвал Конюков.
- Да.

- Найди товарищу капитану скамеечку, - сказал Конюков. - Одна нога здесь, другая там.

Скамеечки не нашлось, вместо нее боец принес два автомобильных сиденья и положил их немного поодаль от печки, а сам стал ворошить дрова.

- Вольно, Конюков, - сказал Сабуров. - Садись, - и сам сел к огню.

Конюков тоже сел, наискось от него, но, даже сидя на низкой автомобильной подушке, ухитрялся сохранять подтянутый вид.

- Значит, теперь один в осаде сидишь? - спросил Сабуров.

- Так точно. За командира роты остался, как убило его.

- Сколько сейчас у тебя людей?

- Пятнадцать человек, - сказал Конюков, - считая меня.

- А было, когда принял команду?

- Семнадцать было. Двое за вчера и сегодня убили по причине смерти. Убиты, значит, - пояснил он свое даже ему самому показавшееся витиеватым официальное выражение.

- Как же ты войско свое расставил? - спросил Сабуров.

- Разрешите доложить. Значит, так. Днем у амбразур с пулеметами четверо лежат все время. Двое в окопах по сторонам сидят, чтобы не обошли, чтобы с флангов наблюдать. Закопаны хорошо, и прямо из подвала туда ход идет, чтобы головы не снесло, когда ползти будут. Вот дыра идет, видите? Двое на первом этаже все время дежурят: глядят вперед, чтобы не подошли. Закрыты, конечно, меньше, но защита устроена. Мы туда из танка башню сволокли, кирпичами обложили. Вчера убило Максимюка. Не знали?

- Кажется, знал.

- Такой рыжий, у меня в отделении был. Ну, вчера в него попало. А так - бог милует. Все предназначено по порядку, товарищ капитан. Сами сможете убедиться.

- Посмотрю, - сказал Сабуров.

- А пока не хотите ли картошечки отведать? Как раз жарим ее. Мороженая, но она еще слаще.

- Откуда же у тебя картошка?

- Ночью вчера пробрались до того подполья, где женщина была с детьми, которых убило. Помните?

- Помню.

- Пробрались. Сам лично я пробирался. Там от взрыва разбросало. Полмешка набрал. Вы мороженую не кушаете?

- Нет, почему же? Ем, - сказал Сабуров.

- Сейчас мы все сделаем, - сказал Конюков. - Антонов, поверни еще раз картошку. Погоди, я сам.

Конюков встал и, вытащив из-за пояса широкий трофейный нож, стал поворачивать на сковороде картошку.

- У нас тут хозяйство, товарищ капитан. Я люблю, чтобы всему свое место было. Отведайте картошки, - предложил он, стаскивая с временки сковородку и ставя ее на пол. - Вот, пожалуйста, ножичек.

Сабуров взял нож и, обжигаясь, съел несколько кружков картошки.

Конюков, у которого на боку болталась немецкая обшитая войлоком фляга, хотел спросить у капитана, выпьет ли он, но дисциплина взяла верх: начальство само знает, когда пить, когда не пить.

- А ты чего не ешь? - спросил Сабуров.

- Отведайте еще, потом и мы покушаем.

Сабуров отказался и подвинул сковородку Конюкову. Тот наскоро подцепил ножом немножко картошки и, еще не дожевав, позвал дежурного:

- Буди бойцов. Ужин готовый.

Сабуров поднялся.

- Пока будут ужинать, сходим наверх.

- Есть, товарищ капитан. Вот сюда, пожалуйста.

Они вылезли наверх по обломку пожарной лестницы.

Раньше она служила для того, чтобы взбираться на шестой или седьмой этаж, под небом, а теперь они поднялись всего на семь или восемь ступенек и оказались уже под небом, хотя на самом деле это был всего лишь первый этаж, едва поднимавшийся над уровнем земли.

Ночь была темная и морозная.

- Пригнитесь, товарищ капитан, к парашюту, - сказал Конюков. - Тут нет-нет да и стеганет.

Пригнувшись, они прошли шагов десять и за углом стены нашли первого из часовых. Он лежал между обломками, на которые наискось были положены два рельса, а сверх них несколько мешков с цементом.

- Сидоров, - шепотом позвал Конюков.

- Я.

- Что наблюдаешь?

- Ничего не наблюдаю.

- Замерз?

- Пробирает.

- Терпи, скоро смена выйдет. Картошку жарить будешь. Ты сегодня за повара.

- Только бы до печки добраться, - сказал Сидоров. - А там я что хочешь испеку. Холодно!

- Ну, наблюдай, - распорядился Конюков. - Приказаний не будет, товарищ капитан?

- Не будет, - сказал Сабуров.

Они переползли ко второму наблюдателю, устроившемуся в поставленной между обломками стены пустой башне танка. Верхний люк башни сейчас был открыт, и наблюдатель стоял в ней так, что была видна одна его голова.

- Дюже ледяная башня, - сказал Конюков. - Мы уже в ней матрац положили, чтобы была возможность сидеть. А уж что зимой будет, в январе или феврале, - страсть, если холода ударят. Как уж тут сидеть? Прямо хоть водки двойной паек выдавай тому, который дежурный тут. - Конюков говорил об этой танковой башне так, словно она величина постоянная и ему со своими дежурными придется сидеть именно в этой башне еще и в январе и в феврале. - А весна придет, солнышко пригреет, тогда, конечно, легче станет, - продолжал Конюков свою мысль. - Чего наблюдаешь, Гавриленко?

- Шуршало малость, - сказал Гавриленко шепотом. - А сейчас тихо.

- Ну, смотри. Приказаний у вас не будет, товарищ капитан? - опять, как в прошлый раз, спросил Конюков у Сабурова, и тот, как и в прошлый раз, ответил:

- Нет, не будет.

Потом они осмотрели оба внешних поста по сторонам дома и вернулись в подвал.

Конюков сделал такое движение, словно искал кого-то глазами, но один из красноармейцев уже выскочил вперед и отрапортовал:

- Товарищ капитан, взвод принимает пищу.

- Кушайте, - сказал Сабуров. - Принимайте пищу. Значит, сейчас пойдут сменять? - обратился он к Конюкову.

- Так точно.

Они отошли к освободившимся теперь тюфякам, присели на них и стали говорить на разные интересовавшие Сабурова темы – и о том, сколько у Конюкова патронов и где они хранятся, в разных местах или все вместе, на сколько хватит продовольствия в случае, если бы двое или трое суток не удавалось ничего подносить по ночам, – как вдруг сверху раздались один за другим три выстрела.

– По местам! – закричал Конюков, вскакивая. – Сидоров предупреждение делает, – обратился он к Сабурову. – Как, товарищ капитан, наверх со мной пойдете или здесь будете?

– Наверх пойду.

Выбравшись наверх, они прилегли вместе с выскочившими красноармейцами за бруствер, сложенный из кирпича и мешков с цементом.

– Наверх пойду.

Выбравшись наверх, они прилегли вместе с выскочившими красноармейцами за бруствер, сложенный из кирпича и мешков с цементом.

Ночная атака продолжалась около часа. Немцы небольшими группами, с разных сторон пытаясь подобраться к дому, осыпали обломки стен автоматными очередями. Но в конце концов, потеряв несколько человек, отступили, и все опять затихло.

Сабуров спустился в подвал и отдал Конюкову несколько распоряжений на будущее. Уже начинало светать. Решив все-таки добраться до батальона, Сабуров вышел вместе с Петей, но едва кончилась стена и они поползли по открытому месту, как перед ними стали ложиться сплошные пулеметные очереди, и им ничего не оставалось, как отойти обратно за стену.

– Придется уж вам день у меня пожить, товарищ капитан, – сказал вышедший проводить их Конюков. – Раз засекли, теперь будут сыпать до самой ночи. Значит, вам такая судьба сегодня вышла.

Сабуров не упорствовал. Он и сам понимал, что Конюков прав.

За день он подробно осмотрел позиции Конюкова и распорядился, чтобы перетащили в более удобное место один из пулеметов. Остальное было в порядке. Несколько раз он поднимался наверх, на первый этаж, и наблюдал за немцами. В этот день они вели себя сравнительно тихо, по крайней мере здесь, против конюковского дома, и только в конце дня, в четвертом часу, сразу начало бить несколько тяжелых минометов и по дому и через него – туда, где были расположены остальные роты.

Когда после этого немцы тремя группами перешли в атаку на командный пункт и правофланговую первую роту, то сразу выяснились выгоды местоположения конюковского дома: немецкие солдаты в горячке, не прячась в ходы сообщения, выскакивали на закрытое со стороны батальона, но открытое отсюда место, и тогда Конюков, сам лежавший за пулеметом, с остервенением строчил по ним, и проскочившие между развалинами немцы падали на снег.

Забыв о субординации, Конюков несколько раз поворачивал разгорячённое лицо к Сабурову и хвастливо подмигивал.

Ровно в четыре часа (Сабуров хорошо запомнил время, потому что как раз посмотрел на часы) немцы, судя по звукам боя, прорвались к штабу батальона. После минутной угрожающей паузы

там сразу раздалось пять или шесть гранатных разрывов, потом еще два и еще пять или шесть. Сабурова охватило щемящее чувство тревоги, смешанное с неопределенным предчувствием горя. В первый раз за все время в Сталинграде он подумал, что у него не в порядке нервы. Отстранив Конюкова, он сам лег за пулемет.

Это немного привело его в себя, но тревога не исчезла, хотя, судя по тому, что гранатные разрывы прекратились и немцы отползали назад, атака была отбита.

Через полчаса снова было тихо, и только редкие мины, перелетая через дом, шлепались позади.

В начале шестого Сабуров откинул плащ-палатку и выглянул за порог. Уже начинало темнеть.

- Пора!

- Разрешите доложить, товарищ капитан, - обратился Конюков. - Имейте терпение. Обождите еще десять минут.

- Ладно, - согласился Сабуров, - обожду... Да, - вспомнил он, - орден, что тебе вышел, в следующий раз приду принесу. Специально в дивизию пошлю за ним.

- Вот спасибо, - сказал Конюков, - премного буду вам благодарен.

- Рад ордену? - спросил Сабуров.

- А кто же ему не рад? Ему только бессмысленный человек не рад. А я свою гордость имею, Алексей Иванович, - Конюков впервые так обратился к Сабурову, - после войны, может, и встретимся где. Увидите меня и скажете: «Вон Конюков идет». А может, и женюсь я. Я ведь вдовый... Может, закурите, Алексей Иванович? - спросил он, доставая жестяную коробочку с махоркой.

Видимо, он так вольно обращался сейчас к комбату потому, что у них впервые зашел разговор о том, что будет после войны, когда он станет опять штатским человеком и именно так - Алексеем Ивановичем - назовет Сабурова, если встретит его.

- А может, медаль выйдет нам, как за Шипку, - сказал Конюков, когда они закурили. - За то, что мы тут сидели, а, Алексей Иванович?

- Все может быть.

- На Шипке все спокойно, - сказал Конюков, прислушиваясь к наступившей тишине.

В ту минуту, когда Сабуров услышал сзади, в батальоне, далекие взрывы гранат и когда его душу охватило щемящее предчувствие, которое он заглушил, но преодолеть не мог, именно в эту минуту по стечению обстоятельств произошло то самое несчастье, которого он мог бояться.

Раздосадованные несколькими неудачными атаками, немцы решили взять быка за рога и, скопившись между развалинами, бросились прямо к командному пункту батальона. Перед этим была та подозрительная минута тишины, которую для себя отметил Сабуров.

Когда немцы выскочили, на командном пункте были только Масленников, пришедший сюда из роты, чтобы позвонить командиру полка, двое дежурных в пулеметном гнезде над входом в блиндаж и двое связистов, сидевших рядом в своем блиндаже. Одному из них как раз в этот

момент Аня, разрезав рукав, бинтовала раненую руку.

Когда появились немцы, пулеметчики сделали секундную паузу – у них на миг перекосило ленту, и несколько немцев перескочили то мертвое пространство, на котором пулемет в следующую секунду положил остальных. Те, которые проскочили, залегли за камни совсем рядом с блиндажом, несколько гранат полетело в окоп и в ходы сообщения.

В первую секунду Аня ничего не поняла: она только услышала взрывы и увидела, как стоявший перед ней связист, которому она бинтовала руку, вдруг рванулся от нее, волоча за собой разматывающийся бинт, и со всего маху упал на спину.

Аня наклонилась к нему, в это время второй связист грубо толкнул ее, так что она упала на дно окопа, а когда подняла голову, то увидела, что связист схватил автомат и, поднявшись над окопом, куда-то стреляет.

Упав, Аня больно ударилась лицом о что-то жесткое – это был лежавший на дне окопа автомат убитого связиста. Она взяла автомат, положила его на бруствер окопа и, поднявшись так же, как второй связист, стала стрелять, не видя еще, куда она стреляет.

Потом она увидела, как слева, из блиндажа, выскочил Масленников, пригнулся и, как мальчишка (она почему-то именно так это запомнила), одну за другой, вырывая их из-за пояса, бросил четыре маленьких гранаты.

Потом опять затрещал пулемет, кто-то крикнул на незнакомом языке, спереди на них что-то полетело, связист пригнулся в окопе, она сделала то же самое, а наверху раздались взрывы.

Связист опять поднялся и начал стрелять. Аня, нажав на гашетку, почувствовала, что стрелять дальше нельзя, так как первыми же очередями она расстреляла весь диск и теперь там не было патронов. Она нагнулась и стала смотреть, не лежит ли где-нибудь в окопе другой диск. Диск действительно лежал в двух шагах от нее – в холщовой мешочке, на поясе у убитого связиста. Она быстро пробежала по окопу и, наклонившись, отстегнула диск. Еще раз оглянувшись, она увидела, как Масленников опять приподнялся над окопом и, что-то крича, снова бросил гранату. Она подумала про себя, какой он храбрый, и, отстегнув диск, пошла обратно – туда, где у нее лежал автомат.

А когда она нагнулась, чтобы поднять автомат, что-то пролетело над ее головой и упало в окоп. Она увидела, что между ней и связистом, который стрелял из автомата, в окопе, как волчок, крутится граната. Связист бросил автомат и упал на дно окопа.

Аня, совсем почему-то не подумав о себе, испугалась – сейчас эта граната убьет связиста, и вспомнила, как кто-то ей говорил, что гранату можно успеть выбросить обратно. Она схватила гранату и вышвырнула ее из окопа. Граната рванулась уже на бруствере, и Аня, ничего не помня, без сознания упала на дно окопа.

В горячке боя Масленников не сразу заметил все происшедшее. Он с ожесточением бросал в немцев гранаты, которые заранее лежали в козырьке окопа, у самого входа в блиндаж. Он, наверное, бросил их штук пятнадцать, одну за другой, пока наконец в первой роте, услышав звуки боя, не догадались, что на командном пункте неблагополучно, и не отправили во фланг немцам автоматчиков, которые сравнительно быстро перестреляли из-за укрытия нескольких прорвавшихся и залегших на открытом месте немцев, а остальных заставили отступить.

Когда Масленников после этого спустился в окоп, он увидел Аню, лежавшую между двумя мертвыми связистами, – двумя, потому что того, кто бросился ничком, когда упала граната,

тоже убило. Аня лежала неподвижно, неловко прижавшись щекой к краю окопа. Масленников нагнулся над ней, потом встал на колени и, вытащив из кармана платок, вытер с ее лица кровь. Кровь была от маленького осколка, поцарапавшего лоб у самых волос. Масленников несколько раз назвал Аню по имени, но она не отвечала, хотя слабо дышала. Ее шинель и гимнастерка были порваны в двух местах – на плече и на груди.

Гранату рвануло в одну сторону – в ту, где лежал бросившийся ничком связист, и он был весь изорван осколками. А в Аню попали этот маленький осколочек в лоб и два в грудь и плечо.

Маленький снег падал в окоп на лицо Ани, на ее шинель, на обнаженную голову Масленникова, который, наклонившись над Аней, скинул с себя ушанку. Он все еще стоял на коленях и неустанно, почти беззвучно продолжал повторять ее имя, и в сердце у него была невообразимая тоска. Так он стоял, может быть, целую минуту, а потом, все еще не зная, что делать, но подчиняясь инстинктивной душевной потребности, поднял Аню на руки и понес – голова ее беспомощно свесилась, испугав его этим безвольным движением. Он понес ее по окопу, внес в блиндаж и положил на свою койку, на ту самую, где она, усталая, спала эту ночь. Только сейчас он увидел, что через плечо у нее по-прежнему висит большая санитарная сумка, про которую Ванин вчера спрашивал, неужели это все ее имущество, и Аня сказала, что да, все.

Он приподнял ее голову, снял сумку и положил под койку. Потом, отступив спиной и все еще продолжая смотреть на Аню, взял телефонную трубку и позвонил в полк начальнику штаба, что у него есть убитые и раненые, а фельдшер сама тяжело ранена и чтобы скорей прислали врача или фельдшера. Ему обещали. Он повесил трубку и вышел из блиндажа отдать распоряжение на случай повторения атаки. Но немцы пока молчали.

Масленников вернулся в блиндаж, сел на койку рядом с Аней и, посмотрев на нее, заметил, что струйка крови из ранки на лбу опять потекла вниз по щеке. Он опять вынул платок и стер кровь.

Лицо Ани было очень бледно и спокойно. Если бы не эта ранка на лбу и не темные пятна на гимнастерке, можно было бы подумать, что она спит. Это спокойствие и незаметность ран пугали Масленникова, который много раз видел кровоточащие, страшные на вид раны, после которых люди оставались живы, и знал, как часто незаметная рана, наоборот, делает человека мертвым.

Он сидел и, как будто этим можно было помочь, вытирал набегавшие на лоб Ани капли крови и думал о том, как придет Сабуров и что он ему скажет. Потом он вспомнил о лежавшем у него в чемодане присланном перед седьмым ноября наркомовском подарке – там было несколько плиток шоколада, печенье и сгущенное молоко, – он все это не трогал потому, что думал подарить, когда у Сабурова и Ани будет свадьба. У него мелькнула мысль: «А может быть, все это пройдет, все будет хорошо». Он еще раз послушал, как Аня дышит. Она почти не дышала. Тогда он понял, что она, наверное, умрет, может быть, даже до прихода врача. Это молчание наедине с ней было таким тягостным, что он, вспомнив о немцах, пожалел, что они не идут еще раз в атаку и он не может, забыв обо всем, выскочить отсюда с автоматом в руках. Но немцы, как нарочно, вели себя тихо, и это обозлило его. А кровь все набегала каплями на лоб Ани, и он вытирал их, пока не заметил, что платок промок насквозь. Он полез под койку к себе в чемодан, нашел чистый платок и, поднимаясь с колен, увидел вошедшего в блиндаж врача.

- Где раненые? – шурясь, спросил врач.

- Вот, - указывал Масленников.

- А, Клименко, - и движением, которое удивило Масленникова своим профессиональным спокойствием, врач поддернул рукав над часами и взял руку Ани, слушая пульс. Потом, расстегнув у Ани пояс и разрезав гимнастерку, осмотрел раны. Рана на груди заставила его поморщиться. Он наскоро перевязал ее и, посмотрев на Масленникова близорукими, сощуренными глазами, сказал: - Надо немедленно эвакуировать - и на стол!

- Что? - спросил Масленников. - Ну что?

Но врач ничего не ответил и позвал в блиндаж санитаров.

- Больше раненых нет? - обернулся он к Масленникову.

- Нет. Только убитые.

- А вы?

- Что я?

- Да голова-то.

Масленников потрогал голову, и когда отнял руку, ладонь была красная и липкая.

- Это пустяки, - сказал он, не храбрясь, а потому, что действительно не чувствовал никакой боли.

- Ну-ка, ну-ка... - Врач вынул из кармана пузырек со спиртом, смочил вату и протер висок и лоб Масленникова.

- Да, действительно пустяк. Санинструктор есть в батальоне?

- Где-то должен быть.

- Пусть перевяжет, а то загрязните.

Санитары за это время уже переложили Аню с койки на холщовые носилки и, дожидаясь врача, поставили их на пол. То, что ее положили на пол, Масленникову показалось грубым и обидным, хотя он десятки раз до этого видел, как раненых клали на пол или просто на землю.

- Все, - сказал врач. - Пошли.

Когда санитары подняли носилки, одна рука Ани беспомощно свесилась. Санитар поправил ее, положив на носилки.

Масленников вышел вслед за врачом, но увидел только спину шедшего сзади санитаря.

Он еще продолжал стоять в ошолоблении и смотреть вслед ушедшим, когда где-то близко застучали автоматы. Он почти с облегчением подумал, что вот снова началось, вылез из окопа и, перебежав в следующий, спрыгнул к пулеметчикам, уже стрелявшим по немцам,

XXIII

Сабуров вернулся к себе в блиндаж сразу же после наступления темноты. Там был один Масленников, который сидел за столом и составлял донесение. Голова у него была небрежно, наискось, повязана промокшим бинтом.

- Ранили? - спросил Сабуров.

- Поцарапали.

- А где Ванин?

- Пошел в полк представляться новому командиру.

- Ах да, ведь теперь у нас Ремизов, - вспомнил Сабуров.

- Да, - сказал Масленников. - Вот он и пошел ему представляться.

Он повторил это, умолчав о том, что Ванин заодно обещал узнать про Аню.

Петя за плащ-палаткой гремел котелками. Сабуров и Масленников сели к столу друг против друга. Говорить не хотелось - оба не могли говорить о том, что занимало их мысли. Сабурову хотелось рассказать Масленникову о щемящем чувстве, которое он испытывал сегодня в четыре часа дня. Но он стыдился и не хотел заговаривать об этом, а Масленников, знавший, что Сабурову неизвестно не только о ранении Ани, но и о том, что она вообще была здесь, колебался, сказать или не сказать, и думал, не лучше ли будет, если он пока вообще ничего не скажет.

В то время как они оба сидели так друг против друга, не решаясь заговорить, их глаза в одно и то же мгновение сошлись на одном предмете - на большой санитарной сумке Ани, лежавшей под койкой. Они посмотрели на эту сумку, потом друг на друга, потом опять на сумку, и Сабуров перевел взгляд на Масленникова.

- Анина? - спросил он, и по тону его, и по выражению лица Масленников понял, что он, несомненно, знает, что эта сумка принадлежит Ане.

- Да, - сказал он.

- А где Аня?

Когда Масленников секунду помедлил с ответом, сердце у Сабурова похолодело, внутри его все оборвалось и осталась пустота.

- Она тут была, - сказал Масленников. - Вчера пришла, как только вы ушли... Ее сегодня ранили... и эвакуировали, - вдруг почему-то повторил он холодное докторское слово.

- Когда?

- В четыре часа.

Сабуров молчал, продолжая смотреть на сумку. Он не спросил, куда Аня ранена, тяжело или легко. Когда Масленников сказал в «четыре часа», он почувствовал, что произошло несчастье. Ему не хотелось больше спрашивать.

- Ее ранили тяжело, но небольшими осколками, - сказал Масленников, которому показалось, что Сабурову, должно быть, важно, что ее не изуродовало, а ранило именно небольшими

осколками. – В грудь, в плечо и вот сюда еще. Но это тоже, как у меня, – царапина.

Сабуров молчал и все еще глядел на сумку.

– Ванин пошел к полковнику, он, наверное, что-нибудь узнает, – продолжал Масленников.

– Хорошо, – безразлично сказал Сабуров. – Хорошо. Ты посты поверял?

– Нет, не поверял еще.

– А ты поверь.

– Сейчас пойду, – заторопился Масленников, подумав, что Сабуров хочет остаться один.

– Нет, почему сейчас? – сказал Сабуров. – Можно потом, когда кончишь донесение.

– Нет, я сейчас пойду.

– Как хочешь, – сказал Сабуров.

Масленников вышел, а он подошел к койке Масленникова, сел на нее, увидел на одеяле пятна крови и понял, что, наверное, Аню клали сюда. Тогда он потянулся за сумкой, поднял ее и положил на койку. Он делал все это не спеша. У него было такое ощущение, что главное несчастье уже произошло, теперь ему совсем некуда торопиться, он все успеет. Он медленно расстегнул сумку и, ничего не вытаскивая, несколько минут смотрел на то, что лежало в ней. Потом так же медленно начал вынимать все, одно за другим. Сумка была туго набита: в ней лежали аккуратно сложенная пилотка, зубная щетка и мыло, два полотенца, один носовой платок. В другом отделении были медикаменты – он их не тронул. Потом он вынул две новые зеленые медицинские петлицы с привинченными к ним кубиками, потом маленькую деревянную круглую коробочку, которую он открыл и увидел там иголки и нитки. Он закрыл ее. Последнее, что он, побледнев, вынул из сумки, были рубашки – две солдатские рубашки, большие, не по росту, у одной из них были подвернуты и подшиты рукава, так же как на шинели, тогда, когда он встретил Аню в окопе и поцеловал ее руки там, где были ссадины. И он подумал, что вот именно тогда, наверное, увидел ее в последний раз и больше никогда не увидит. Упав лицом на все эти разбросанные по койке вещи, он заплакал, уже ничего больше не замечая вокруг себя.

Когда через полчаса в блиндаж вошел Ванин, Сабуров сидел у стола в своей обычной позе, откинувшись спиной к стене и вытянув ноги. На лице его не было выражения печали или страдания. Он встретил Ванина тяжелым, пристальным взглядом. Это был взгляд человека, потерявшего что-то, без чего он не представлял своей жизни, и все-таки решившего продолжать жить, взгляд человека, у которого вынули кусок души и ничего не вложили на это место.

Ванин подошел к столу и сел напротив Сабурова. Они помолчали.

– Ну что? – спросил Сабуров.

Ванин понял, что он не ждет хорошего ответа,

– Ранение тяжелое. Здесь только перевязали и отправили на ту сторону.

– Разве Волга совсем стала?

- Да, стала. Сегодня первых раненых переправляют.

- Да... - сказал Сабуров. - Ну что ж, - и опять замолчал.

Тогда Ванин вдруг, помимо своей воли, стал ему говорить все, что обычно говорят в таких случаях. Сам сердясь на себя за это, но не в состоянии удержаться, он говорил то, что совсем не нужно было говорить, - что все это обойдется, что ранение, конечно, тяжелое, но не опасное, что пройдет месяц и они снова увидятся с Аней, и вообще все будет в порядке, и они здесь (он даже ударил рукой по столу), именно здесь еще отпразднуют свадьбу.

Судя по выражению лица Сабурова, несколько раз можно было ожидать, что он прервет Ванина. Но он слушал и молчал. И когда Ванин под этим взглядом осекся и перестал говорить, выражение лица Сабурова не изменилось, настолько ему было все равно, говорят сейчас или не говорят, утешают его или не утешают. Когда Ванин замолчал, Сабуров только еще раз повторил:

- Ну что ж...

Потом стянул сапоги, лег на койку и, не притворяясь, что спит, лежал безмолвно, не делая ни одного движения. Он лежал с закрытыми глазами и беспощадно, во всех подробностях, вспоминал этот день, в который - кто знает! - могло бы ничего не случиться, будь он сам все время здесь, а не за сто метров отсюда.

В это время двое санитаров несли Аню на носилках через Волгу. За островом, на коренном течении, лед был толще и уже установился санный путь, но через ближайшую волжскую протоку до озера, почти километр, раненых сегодня несли по еще не окрепшему льду. Волга стала только вчера. Немцы не думали, что по ней уже могут что-то тащить или везти, и над Волгой стояла странная тишина. Кругом все было белое, неподвижное, и только снег, все еще продолжавший падать, чуть-чуть поскрипывал под сапогами санитаров.

Нести было далеко; санитары несколько раз осторожно ставили носилки на лед, постояв некоторое время на одном месте, похлопав замерзшими руками, потом снова всовывали их в рукавицы и брались за носилки. С того берега, навстречу раненым двигались люди, посланные из тыла дивизии, чтобы наметить трассу завтрашнего санного пути, найти, где лед потверже. Они шли, притопывая, пробуя лед ногами. Один из них, немолодой высокий красноармеец, прошел совсем близко от носилок, на которых несли Аню, и остановился.

- Что, сестрицу ранило? - спросил он у санитаров и, повернувшись, прошел несколько шагов рядом с носилками.

- Да, - ответил санитар.

- И шибко ее ранило?

- Шибко, - подтвердил санитар. - У тебя закурить нет?

- Есть.

Санитары поставили носилки, и красноармеец замерзшими, негнущимися пальцами насыпал им по щепотке табаку. Они начали свертывать самокрутки.

- Что же вы положили ее? Не заморозите?

- Ничего, сейчас подыдем, - проговорил один из санитаров. - А ты что, знаешь ее?

- Она нас переправляла, когда еще вода была, - заметил красноармеец. - Добрая сестрица, только молоденькая еще.

- Молоденькая, - согласился санитар.

Они подняли Аню и понесли дальше. Когда они уже почти подошли к острову, от которого начиналась санная дорога, Аня вдруг, может быть, от холода, а может быть, от скрипящего покачивания носилок, очнулась. Она открыла глаза, увидела над собой черное небо, а сбоку, краем глаза, заметила, что все - белое-белое. В первую секунду она поняла, что Волга стала и что ее несут через Волгу. Но тут же ее мысли стали путаться, путаться, и ей показалось, что это уже не ее несут, а она кого-то несет и говорит, как всегда: «Тише, родненький, сейчас, сейчас донесем». На самом же деле это говорила не она, а санитары, которые услышали гудение немецкого самолета. Они говорили: «Сейчас донесем», успокаивая друг друга, а ей казалось, что это говорит она, и в мыслях своих она старалась нести носилки осторожнее, чтобы их не так раскачивало. Потом ей показалось, что на носилках лежит Сабуров и что это ему она говорит: «Родненький», но что она его еще не знает, и он не знает, что это она, Аня. И тогда она захотела ему объяснить и что-то сказала, но он не услышал. Тогда она опять что-то сказала. Мысли ее совсем спутались, и она опять потеряла сознание.

- Ишь как стонет, бедная, - сказал санитар.

А самолет в это время сделал несколько кругов над Волгой, сбросил осветительную ракету, от которой все сразу стало белым и ярким, и вслед за ракетой - бомбы. Они упали справа и слева от людей, тащивших носилки. Ракета еще не погасла, и на льду были видны черные дыры, и вода, вырываясь из-под них, заливала лед. Сначала, когда разорвалась первая бомба, санитары опустили носилки на лед и сами легли плашмя, а потом, когда разорвалось еще несколько бомб и самолет стал гудеть, делая новые круги, они, не сговариваясь, поднялись, взяли за носилки и пошли вперед, между полыньями, крупным шагом торопящихся людей.

Остров был уже недалеко, впереди кто-то кричал: «К саням, сюда!» - и за бугром - там, где начиналась первая санная дорога, - слышались скрип полозьев и ржанье лошадей.

XXIV

Над приволжскими степями стояла густая ноябрьская тьма. С пяти часов, когда темнело, сразу нельзя было разобрать - вечер это, полночь или пять часов утра, потому что ночь, длившаяся четырнадцать часов, была все время одинаково непроглядна. Все так же завывал над степью холодный ветер, и, словно спохватившись, что его слишком долго не было, падал все усиливавшийся снег; все так же непрерывно скрипели по накатанному насту колеса грузовиков и железные ободья двуколок и молчаливо поворачивались на перекрестках военные регулировщики со своими фонариками.

Все это было однообразно и похоже час на час и день на день, и только тот, кто вздумал бы постоять подряд сутки или двое на одной из этих дорог, ведущих к Сталинграду от Эльтона и от Камышина, понял бы все величие этого однообразия, все угрожающее спокойствие того, что происходило в эти дни на прифронтовых дорогах.

Подобно тому как год назад, в ноябре 1941 года, бесконечные эшелоны с пехотой и артиллерией шли к Москве и, не доходя до истекавшего кровью фронта, растворялись в

подмосковных лесах, – подобно этому и здесь с последних чисел октября ночь за ночью, сначала по грязным, а потом по заснеженным фронтовым дорогам, в пургу, в гололедицу, двигались войска, ползли крытые машины, закутанные в чехлы гигантские орудия РК, приземистые Т-34 и подпрыгивающие вслед за грузовиками на кочках маленькие противотанковые пушки.

Иногда осветительная ракета, сброшенная с немецкого самолета, вырывала из мрака ночи белое пятно, в котором сворачивали в сторону с дороги грузовики, разбегались и бросались на землю люди, а бомбы с грохотом рвались среди грязи и снега. Потом все снова становилось черным, и движение на дороге останавливалось на несколько минут, пока убирали обломки разбитого грузовика и оттаскивали в сторону мертвых. И все опять начинало ползти, катиться и ехать в прежнем направлении. Часть всего этого шла от Камышина и Саратова в степи и лесистые балки севернее Сталинграда. Другая часть людей, орудий и танков двигалась от Эльтона к Волге, пряталась где-то в извилинах Средней, Нижней и Верхней Ахтубы и спускалась оттуда к югу.

И в этом огромном движении людей, машин и оружия, и в том, как все это двигалось, и в том, как все это останавливалось, не доходя до Сталинграда, чувствовались та же воля и тот же характер, которые однажды уже во всей своей почти нечеловеческой выдержке проявились год назад под Москвой.

Когда командующий армией и Матвеев несколько раз в критические минуты просили в штабе фронта подкреплений, им каждый раз категорически отказывали и только с левого берега Волги, сосредоточивая там все больше артиллерии и гвардейских минометных полков, поддерживали дравшиеся в Сталинграде дивизии щедрым огнем. Лишь дважды в самые тяжелые дни штаб фронта, с разрешения Ставки, дал по дивизии. Они прямо с марша были брошены в Сталинград и в течение недели, сделав свое дело, растаяли, сравнившись по численности с остальными дравшимися там дивизиями.

В ту ночь, когда Сабуров молча, закрыв глаза, лежал у себя в блиндаже, а двое санитаров несли Аню по неокрепшему льду, член Военного совета армии Матвеев сделал пешком большую петлю по Волге и явился в блиндаж к Проценко, где имел с ним длинный разговор при закрытых дверях, если так можно было назвать две наглухо опущенные плащ-палатки.

Матвеев вечером вернулся с того берега из штаба фронта, и Проценко был уже вторым командиром дивизии, которого он посещал за ночь. Когда Матвеев накануне был вызван в штаб фронта, он приехал туда с твердым намерением обрисовать всю тяжесть положения армии и еще раз попросить подкрепления. Он ехал в штаб фронта, твердо убежденный в том, что будет просить дивизию и что выпросит ее, потому что она была ему абсолютно необходима. Он предвидел обычный отказ, но считал, что на этот раз его доводы окажутся сильнее.

Однако все вышло наоборот. И командующий, и член Военного совета фронта спокойно выслушали сначала его доклад, потом его просьбу и, против обыкновения, не сказали сразу ни да, ни нет. Потом, после длительной паузы, они переглянулись, и член Военного совета фронта, пододвинувшись вместе со стулом ближе к столу, где лежала карта фронта, положив на нее обе руки, сказал:

– Мы не хотим вам отказывать, товарищ Матвеев, в том, что вы просите, потому что вы просите законно, но мы очень хотим, чтобы вы отказались от своих просьб сами. А для этого вам нужно, по крайней мере, хотя бы немного прочувствовать, что должно произойти в будущем.

Он внимательно посмотрел на Матвеева, и на его похудевшем, добром, простом лице появилась улыбка человека, который знает что-то, что его бесконечно радует.

- Если мы вам скажем, товарищ Матвеев, что у нас нет дивизии, чтобы вам дать, или даже двух дивизий, то мы скажем неправду: они у нас есть.

Матвеев подумал, что это обычное предисловие к тому, что всегда говорилось в таких случаях, - что войска есть, но их нужно держать в резерве, что, кроме Сталинграда, несмотря на всю его важность, есть еще огромный фронт от Черного до Баренцева моря и что все это можно защищать, только имея под рукой свободные войска.

Но член Военного совета фронта ничего этого Матвееву не сказал, а, подвинув по карте обе руки так, что Матвеев невольно обратил внимание на его движение, остановил их - одну южнее, а другую севернее Сталинграда, потом повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, решительным движением сомкнул руки.

- Вот, - сказал он, и в голосе его в эту минуту было что-то торжественное. - Вот, - повторил он.

Матвеев запомнил это слово и это движение рук по карте так ясно и отчетливо, что он потом вспоминал об этом много раз - и когда говорил с другими людьми, и когда думал об этом сам, и, в особенности, когда произошло все то, о чем говорил этот жест.

- Вы так думаете? - взволнованно спросил он.

- Да, я так думаю, - сказал член Военного совета. - Вот и все, что я пока могу вам сказать, - добавил он после паузы, - для того, чтобы вы сами это чувствовали и в трудные дни, что остались, дали почувствовать своим людям - не планы наши, конечно, а то, что слова: «Будет и на нашей улице праздник», - слова не о таком уже далеком будущем. А теперь вернемся к вопросу о дивизии. Значит, вам, чтобы удержаться, непременно нужна дивизия?

- Нет, мы так вопрос не ставим, - сказал Матвеев.

- Ну хорошо. Но она вам нужна?

- Нет, мы ее не просим, - сказал Матвеев.

И с этим чувством, под влиянием которого он, даже не согласовав это с командующим армией, отказался от дивизии, Матвеев вернулся в армию, говорил с командующим, а потом отправился в части. Он взял на себя трудную задачу - за одну ночь попасть в обе отрезанные от главных сил дивизии. К Проценко он попал уже ко второму, усталый и озябший.

Проценко был рад приходу Матвеева. В последнюю неделю он лишь иногда с трудом связывался с командующим армией по телефону и сейчас, подробно доложив Матвееву обо всем происшедшем за это время в дивизии, впервые почувствовал, что какую-то часть тяжести переложил со своих плеч на чужие.

Матвеев выслушал все, что Проценко ему сказал, и задал несколько вопросов, клонившихся к одному: сколько дней сможет продержаться Проценко с тем, что у него есть. Потом, сделав рукой такой жест, словно отбрасывал в сторону все, о чем они говорили до этого, спросил, как Проценко представляет себе слова Сталина о том, что будет и на нашей улице праздник.

При этом неожиданном вопросе Проценко посмотрел в лицо Матвееву и уловил в его

блестящих черных глазах то оживление, которое рождается у людей на войне, когда они еще не могут сказать другим, но уже знают сами о чем-то предстоящем, хорошем и важном.

- Я понимаю эти слова так, - ответил Проценко, - что товарищ Сталин сказал их седьмого ноября, значит, они должны скоро исполниться. Во всяком случае, до февраля.

- Почему до февраля? - спросил Матвеев.

- А потому, что если бы после февраля, - он бы сказал их двадцать третьего февраля, а если бы после мая, так сказал бы их первого мая. Такие слова на войне раньше времени не говорятся.

Проценко выжидательно посмотрел и понял по ответному взгляду, что и сам Матвеев такого же мнения на этот счет.

- Так как же? Чи прав я, чи ни? - спросил Проценко.

- Прав. Только надо додержаться.

- Додержаться? - переспросил Проценко так, словно это слово показалось ему обидным. - Я лично, товарищ член Военного совета, не думаю дожить до того часа, когда немец будет здесь, где мы с вами сидим. Пока я жив, этого не будет.

Матвеев чуть заметно поморщился: слова Проценко показались ему слишком громкими.

Но Проценко, сказавший их от души, сразу же вслед за этим перешел к текущим житейским делам и просьбам.

Текущими делами были пополнение боеприпасами (что Матвеев обещал), вылеты еще большего количества У-2 по ночам (что Матвеев тоже обещал) и, наконец, присылка нескольких командиров из армейского резерва (в чем со свойственной ему быстротой и краткостью член Военного совета тут же отказал).

Матвеев был доволен, что упрямый и хитрый Проценко оказался настолько хитрым, чтобы сразу понять, зачем Матвеев приехал к нему, и не настолько упрямым, чтобы расспрашивать о подробностях. Поэтому, хотя уже пора было двигаться в обратный путь, Матвеев согласился задержаться и выпил две кружки крепкого чая, о котором Проценко, любивший похвастаться, сказал почему-то, что он цейлонский и с цветком.

- С цветком так с цветком, - сказал Матвеев. - Главное, что горячий.

Проводив Матвеева до берега и вернувшись к себе, Проценко приказал Вострикову подать карту. Востриков подал ему схему, сделанную от руки в штабе дивизии. Схема изображала те пять кварталов, где дралась в последнее время дивизия.

- Карту, а не схему!

Тогда Востриков принес общий план Сталинграда, на котором был виден весь растянувшийся вдоль Волги шестидесятикилометровый город.

На этот раз Проценко рассмеялся:

- Да нет, не эту. Большую карту. Цела она у тебя?

- Какую большую?

- Большую, всего фронта.

- А... цела.

Востриков долго копался в чемодане, отыскивая карту, которую давно не вынимали.

И именно оттого, что Востриков так долго искал ее, Проценко подумал о том, как безраздельно он сам привязал все свои мысли к Сталинграду и как мало последнее время думал обо всем остальном – так мало, что целых два месяца не вынимал карту фронтов.

Когда Востриков расстелил перед ним на столе карту, где были старые, еще сентябрьские пометки, Проценко, разгладив ее руками, склонился над ней и задумался. Он стал глазами отыскивать города, реки и отметки прежних позиций, и у него возникло такое чувство, как будто он вылез из своих домов и кварталов, из Сталинграда на волю. Увидев всю огромность карты, он с полной ясностью почувствовал, что значит Сталинград, если, несмотря на то что это всего лишь точка на огромной карте, – все другие города и все люди, которые в них живут, последние два месяца живут именно этой точкой – Сталинградом, и, в частности, этими пятью кварталами и блиндажом, в котором сидит он, Проценко. Он с новым интересом посмотрел на карту. И обе руки его невольно поползли по ней тем же движением, что и руки члена Военного совета фронта, и сомкнулись где-то на западе, далеко за Сталинградом.

И в этом движении было не только случайное совпадение, но и закономерность, потому что на войне самые крупные стратегические решения где-то в основе своей бывают ясны и общепонятны благодаря их простоте, рожденной железной логикой правильно понятых обстоятельств.

Под утро, но с таким расчетом, чтобы все могли еще затемно вернуться к себе, Проценко созвал у себя командиров полков и батальонов.

Ночью через Волгу наконец перетащили по льду санный обоз с продовольствием и водкой и в тесном блиндаже Проценко на столе были разостланы газеты и стояло несколько фляг с водкой, а взамен стаканов – аккуратно обрезанные банки из-под американских консервов. На двух блюдах лежала нарезанная толстыми кружками колбаса и подогретое консервированное мясо с картошкой. В центре стояла тарелка, на которой повар, решив блеснуть, устроил витиеватое сооружение из масла, с завитушками и розочками.

Проценко сидел на своем обычном месте, в углу. В блиндаже было жарко натоплено. Против обыкновения, на генерале была не гимнастерка, а вытащенный из чемодана чистый китель; китель был расстегнут, и из-под него сверкала белизной рубашка. Сегодня ночью для Проценко вскипятили воду, и за час до прихода гостей он вымылся, здесь же в блиндаже, в детской оцинкованной ванночке, в которой мылся уже не первый раз, но ни за что не признался бы в этом никому, кроме Вострикова. Проценко сидел распаренный и благодушный, ощущая приятную свежесть от полотна рубашки.

Обстановка – тесный блиндаж, длинный стол и хозяин, сидевший в распахнутом кителе во главе стола, вызвали у вошедшего Ремизова неожиданную ассоциацию:

- У вас, товарищ генерал, совсем как на море.

- Почему на море?

- Как в кают-компании.

Собрались почти все одновременно. Ремизов с пунктуальностью старого военного явился ровно в 18.00, а остальные – кто раньше на две минуты, кто позже. Сабуров пришел последним, с опозданием на пять минут: в ходе сообщения он споткнулся и сильно ушиб колено.

- Простите за опоздание, товарищ генерал.

- Ничего, – сказал Проценко. – Нальем тебе штрафную, не будешь в другой раз опаздывать.

- Садитесь, – сказал Ремизов, подвигаясь на табуретке, – со мной пополам. Вот так, в тесноте, да не в обиде.

- Прошу всех налить, – пригласил Проценко.

Когда все налили водку и наступила тишина, Проценко сказал:

- Я сегодня собрал вас не на совещание, а просто чтобы встретиться, посмотреть в глаза друг другу. Может быть, не все мы доживем до светлого часа (слова «светлый час» прозвучали у него торжественно), но дивизия наша – доживет! И мы выпьем за то, – он встал, и все поднялись вслед за ним, – что скоро наступит и на нашей улице праздник!

И в том, как он произнес сейчас эти слова, тоже была какая-то особая торжественность.

После тоста наступило молчание. Все азартно закусывали – в последние дни с едой было плохо, и недоедания не замечали только потому, что слишком уставали. Потом был провозглашен второй тост, уже традиционный в каждой уважающей себя дивизии, – за то, чтобы она стала гвардейской.

Сабуров сидел рядом с Ремизовым, напротив Проценко, и внимательно наблюдал за генералом. Он знал Проценко давно и хорошо и сейчас несколько раз заметил, что Проценко начинает фразу так, словно хочет сказать что-то важное, но посередине останавливается и переводит разговор на другое. Сабурову показалось, что Проценко очень хочется сказать что-то известное только ему одному и он с трудом сдерживает себя.

Когда пришла пора расходиться, Проценко еще раз обвел взглядом сидевших за столом.

«Вот сидит Ремизов, – думал он, – до него полком командовал Попов, – его нет, до Попова – Бабченко, – его тоже нет. Вот сидит Анненский, он, может быть, и слабоват немножко для командира полка, пока еще слабоват, но зато он прошел всю школу осады, и полк его прошел, и все-таки он может командовать. Вот сидит Сабуров, сидит и не знает о себе того, что, если, не дай бог, убьют или ранят Ремизова, или Анненского, или командира восемьдесят девятого полка Огурцова, то он, Проценко, если сам к тому времени будет жив, назначит Сабурова командиром полка. И все эти люди кругом не знают, какая судьба им выпадет на войне, чем они будут еще командовать, где будут сражаться и под стенами каких городов найдут свою смерть, если найдут ее».

И Проценко, который уже давно, каждодневно и непрерывно, был по уши занят делами, хлопотами, сводками и донесениями – всей повседневностью войны, увидев сейчас вместе всех этих собравшихся за столом усталых людей, своих командиров, вдруг впервые, словно взглянув на них со стороны, почувствовал что-то волнующее, что заставляет холодеть спину, от чего подкатывает ком к горлу, о чем будут потом писать в истории и чему будут завидовать не испытывавшие этого потомки.

Ему захотелось сказать на прощание какие-то особенные, высокие слова, но, как это часто

бывает, он не нашел их, так же как не находил их в другие, самые решительные и, быть может, самые красивые минуты своей жизни. Он просто поднялся и сказал:

- Ну что же, друзья, пора, утром - бой.

Все поднялись. Он пожал каждому руку, и один за другим все вышли. Он задержал только Сабурова.

- Присядь на минуту, Алексей Иванович. Сейчас пойдешь.

Проценко решил проверить, как поняли присутствующие то, что он хотел им сказать, и, оставшись вдвоем, спросил Сабурова:

- Ты меня понял, Алексей Иванович? Понял меня?

- Понял, товарищ генерал, - сказал Сабуров. - Очень хочется дожить до этого часа.

- Вот именно, вот именно, - сказал Проценко, - очень хочется дожить. Я с завтрашнего дня стану чаще голову пригибать, когда по окопам ходить буду, - до того хочется дожить. И тебе советую.

Они помолчали с минуту.

- Курить хочешь? - Проценко протянул Сабурову папиросу.

- Спасибо.

Они закурили.

- Мне Ремизов доложил насчет твоей беды. Я к начальнику тыла человека отправил сегодня, дал приказание ему, чтобы он попутно узнал, в какой госпиталь попала. Чтобы ты след не потерял.

- Спасибо, товарищ генерал, - сказал Сабуров почти равнодушно. Он мучился не оттого, найдет или не найдет Аню; он знал, что, если она будет жива, он обязательно найдет ее, - но жива ли она? И рядом с этим самым страшным вопросом то, о чем говорил Проценко, - найдет он или не найдет ее, сейчас почти не волновало Сабурова. - Большое спасибо, товарищ генерал, - повторил он. - Разрешите идти?

XXV

Хотя говорят, что страдание удлиняет время, но первые три дня, которые прожил Сабуров после случившегося с Аней несчастья, промелькнули так же быстро, как и все сталинградские дни. Когда он впоследствии пробовал вспомнить свое душевное состояние в те дни, ему казалось, что кругом была только одна война. Боль потери была такой постоянной, неуходящей, что именно от ее бесперывности он забыл, что она есть.

Сабуров возвратился от Проценко к себе в батальон с чувством необходимости сделать в эти дни что-то такое, о чем потом будешь помнить всю жизнь. То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых разных причин - и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было

отступать, и того, что отступить – значило тут же бесцельно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех опасность создала если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали здесь друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте.

Все эти вместе взятые обстоятельства постепенно создали ту упрямую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь героический смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами.

Человек в душе никогда не может поверить в бесконечность чего бы то ни было: в его сознании все должно иметь когда-нибудь свой конец. Сабуров так же, как и все находившиеся тогда в Сталинграде, не зная реально и даже не предполагая, когда все это могло кончиться, в то же время не представлял себе, чтобы это было бесконечно. И эта ночь, когда он у Проценко скорее почувствовал, чем понял, что речь идет уже не о месяцах, а о неделях, а может быть, даже днях, придала ему новые силы.

Рассказав Ванину и Масленникову об ужине у Проценко, он с рассветом оставил их на командном пункте, а сам отправился в роты. В батальоне осталось немного людей, и он задался целью поговорить с каждым, вселить во всех то чувство приближающейся победы, которое испытывал сам.

Весь день шел бой. Немцы всем своим поведением в этот день подтверждали мысли Сабурова. Они атаковали особенно часто и поспешно, словно боясь, что не взятое сегодня уже не будет взято завтра.

Сабурову казалось, что он видит последние судороги тяжело раненного зверя. И он радовался этому с мстительностью человека, два месяца ходившего рядом со смертью именно ради того, что начиналось сейчас.

Однако и в этот день и в следующие внешне все выглядело по-прежнему: бои продолжались с неослабевающей силой, немцы четырежды захватывали площадку между домом Конюкова и позициями первой роты и четырежды были выбиты оттуда.

Сабуров вел себя с обычной осторожностью – ложился, когда рвались мины, прятался за камни, когда рядом начинали чиркать пули снайпера, переживал в укрытиях бомбежки. Горе не заставило его искать смерти. Это было ему чуждо всегда и осталось чуждо теперь. Он хотел жить потому, что нетерпеливо и убежденно ждал победы, и ждал ее в очень точном и определенном смысле: ждал, когда можно будет отобрать у немцев вот эту ближайшую площадку, этот дом, что отдали неделю назад, и лежащие за ним развалины, которые по старой памяти все еще назывались улицей, и еще квартал, и следующую улицу – словом, все, что было в его поле зрения.

И когда подводили итоги дня и разговоры шли о том, что убито еще двое и ранено семь человек, о том, что два пулемета на левом фланге надо перетащить из развалин трансформаторной будки в подвал гаража, о том, что если назначить вместо убитого лейтенанта Федина старшину Буслаева, то это будет, пожалуй, хорошо, о том, что в связи с потерями по старым показаниям старшин на батальон отпускают вдвое больше водки, чем положено, и это не беда – пусть пьют, потому что холодно, – о том, что вчера раздробило руку часовому мастеру Мазину и теперь, если останутся последние уцелевшие в батальоне сабуровские часы, то некому уже будет их починить, о том, что надоела все каша да каша, –

хорошо, если бы перевезли через Волгу хоть мороженой картошки, о том, что надо таких-то и таких-то представить к медалям, пока они еще живы, здоровы и воюют, а не потом, когда это, может быть, будет и поздно, – словом, когда говорилось ежедневно о том же, о чем говорилось всегда, – все равно предчувствие предстоящих великих событий у Сабурова не уменьшалось и не исчезало.

Вспоминал ли он об Ане в эти дни? Нет, он не вспоминал – он помнил о ней, и боль не проходила, не утихала и, что бы он ни делал, все время существовала внутри его. Ему искренне казалось, что если Аня умерла, то уже никакой другой любви больше в его жизни никогда не будет. Никогда раньше не думавший о том, как он себя ведет, Сабуров стал наблюдать за собой. Горе тяготило его, и он как бы оглядывался на себя, мысленно спрашивая: так ли он делает все, как делал раньше, нет ли в его поведении чего-то такого, к чему понудило его горе. И, преодолевая страдание, он старался вести себя, как всегда.

Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде. Конюков попросил Сабурова привинтить орден – у него была рассечена осколком гранаты кисть левой руки. Когда Сабуров по-солдатски, складным ножом, прорезал дырку в гимнастерке Конюкова и стал привинчивать орден, Конюков, стоя навытяжку, сказал:

– Я думаю, товарищ капитан, что если на них атаку делать, то прямо через мой дом способней всего идти. Они меня тут в осаде держат, а мы прямо отсюда – и на них. Как вам такой мой план, товарищ капитан?

– Обожди. Будет время – сделаем, – сказал Сабуров.

– План-то правильный, товарищ капитан? – настаивал Конюков. – Как по-вашему?

– Правильный, правильный... – Сабуров подумал про себя, что на случай атаки нехитрый план Конюкова действительно самый правильный.

– Прямо через мой дом – и на них, – повторил Конюков. – С полным сюрпризом.

Слова «мой дом» он повторял часто и с удовольствием; до него, по солдатской почте, уже дошел слух, что этот дом так и называют в сводках «дом Конюкова», и он гордился этим.

– Выживает немец из дома, – сказал Конюков, когда Сабуров собрался уходить. – До чего дошли: хозяев бьют, – и он засмеялся, показывая на свою раненую руку. – И осколок-то небольшой, а поперек костей чиркнул: совсем пальцы не гнутся. Так вы доложите по начальству, товарищ капитан, чтобы когда наступление будет, то через мой дом атаку делали!

И хотя Сабуров уважал Проценко и понимал, что за его словами, наверное, стоят слова еще более высокого начальства, но то, что эта уверенность в будущем наступлении существовала не только у Проценко, но и у Конюкова, еще в большей степени подкрепляло его собственную мысль, что так оно и будет.

Когда Сабуров вернулся от Конюкова (а это было уже под утро) Ванин был в роте, а Масленников сидел у стола, хотя работы у него не было и он вполне мог бы лечь спать. Последние дни он старался всюду быть вместе с Сабуровым. Когда ночью он сказал Сабурову, что вместе с ним пойдет к Конюкову, Сабуров наотрез отказал, и ему пришлось остаться. Теперь Масленников сидел и волновался.

Сабуров вошел, молча кивнул Масленникову и так же молча, стянув сапоги и гимнастерку, лег на койку.

- Курить хотите? - спросил Масленников.

- Хочу.

Масленников протянул ему портсигар с махоркой. Сабуров свернул папироску и закурил. Он ценил то деликатное молчание, которое соблюдал Масленников, - редкое свойство, в минуты несчастья проявляемое только истинными друзьями. Масленников ни о чем его не спрашивал, не утешал и в то же время своим молчаливым присутствием все время напоминал ему, что он не один в своем горе.

И сейчас, сидя рядом с Масленниковым, Сабуров вдруг почувствовал нежность к этому мальчику и впервые за все последние дни с удовольствием подумал о каком-то времени после войны, когда они встретятся где-то далеко отсюда, в совсем непохожем доме, совсем по-другому одетые, и будут вспоминать обо всем, что происходило в этой землянке под пятью накатами, в этих холодных окопах, под мелким ледящим снегом. И им покажутся вдруг милыми эти жестяные кружки, и эти сталинградские лампы «катюши», и весь неудобный окопный быт, и даже самые опасности, которые уже будут позади. Он сел на койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе:

- Миша!

- Что?

- Ничего, - сказал Сабуров. - Ничего. Увидимся с тобой когда-нибудь, будет что вспомнить, да?

- Конечно, вспомним, - сказал Масленников после молчания, - что вот сидели мы восемнадцатого ноября у железной печки в Сталинграде и курили махорку.

- Восемнадцатого ноября? - удивился Сабуров. - Разве сегодня восемнадцатое ноября?

- Да. А что?

- Странно, как быстро время идет! Завтра уже семьдесят дней, как выгрузились в Эльтоне...

Он продолжал сидеть на койке, раскачиваться и пускать колечки дыма, и ему было странно, что они сейчас сидят здесь, в блиндаже, и он после всего, что уже семьдесят дней происходит кругом, все-таки жив и здоров, а Ани нет и неизвестно, жива ли она. Он долго сидел и молчал. Потом лег на койку и почти сразу заснул, свесив с койки руку с зажатой в ней потухшей папиросой.

Он проспал час, может быть, полтора. Когда его разбудил телефонист, было еще совсем темно и через вкось врытую в стену блиндажа двенадцатидюймовую трубу, служившую окном, еще не поступал дневной свет. Шлепая босыми ногами по холодному полу, Сабуров подскочил к телефону.

- Капитан Сабуров слушает.

- Проценко говорит. Спишь?

- Так точно, спал.

- Ну так скорей вставай, - в голосе Проценко слышалось волнение, - выходи наружу, послушай.
- А что, товарищ генерал?
- Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих разбуди, пусть слушают.

Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо натянул сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил наружу.

Время от шести до семи утра в Сталинграде было обычно временем наибольшей тишины. Иногда за целый час ни с той, ни с другой стороны не бывало ни одного артиллерийского залпа, разве только где-нибудь гремел отдельный винтовочный выстрел или глухо плюхалась вдалеке случайная мина.

Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шел крупный снег, в нескольких шагах все заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить охранение. После звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. Между тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за расстегнутый ворот рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за тридцать-сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук этот все-таки доносился и, несмотря на отдаленность, сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого еще никто не видел и не слышал. Сабуров уже не замечал холода и, смахивая с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться...

«Неужели это то самое?» - подумал он и повернулся к стоявшему рядом автоматчику:

- Слышишь что-нибудь?
- А как же, товарищ капитан. Слышу. Наша бьет.
- А почему думаешь, что наша?
- По голосу слышать.
- А давно уже это?
- Да уж с час слышать, - сказал автоматчик. - И все не утихает.

Сабуров быстро вернулся в блиндаж и растолкал сначала Масленникова, а потом недавно вернувшегося из роты, спавшего в сапогах и шинели, Ванина.

- Вставайте, вставайте! - говорил Сабуров таким же взволнованным голосом, каким пять минут назад с ним разговаривал Проценко.
- Что? Что случилось? - спрашивал Масленников, надевая сапоги.
- Случилось? - сказал Сабуров. - Очень многое случилось. Идите наверх, послушайте.
- Что послушать?
- Вот послушайте, потом поговорим.

Когда они вышли, Сабуров приказал телефонисту соединить его с Проценко.

- Слушаю, - донесся до него голос Проценко.

- Товарищ генерал, докладываю: слышал!

- А... Все слышали. Я всех перебудил. Началось, милый, началось. Еще увижу я свою ридну Украину, еще постою на Владимирской горке у Киева. Розумиешь?

- Случилось? - сказал Сабуров. - Очень многое случилось. Идите наверх, послушайте.

- Что послушать?

- Вот послушайте, потом поговорим.

Когда они вышли, Сабуров приказал телефонисту соединить его с Проценко.

- Слушаю, - донесся до него голос Проценко.

- Товарищ генерал, докладываю: слышал!

- А... Все слышали. Я всех перебудил. Началось, милый, началось. Еще увижу я свою ридну Украину, еще постою на Владимирской горке у Киева. Розумиешь?

- Розумию!

- Уже четвертую ночь под утро не сплю, - сказал Проценко. - Все выхожу, слушаю, не начинается ли? У нас любят перед рассветом начинать. Выхожу сегодня, а она уже концерт начала... Хорошо слышно, Сабуров?

- Хорошо, товарищ генерал.

- Официального сообщения из штаба армии еще не имею, - предупредил Проценко. - Погоди людей оповещать. А хотя, чего их оповещать? Сами услышат, догадаются.

Проценко положил трубку, Сабуров тоже. Он не знал точно, как и где все это происходит, но с несомненностью почувствовал, что началось. И хотя началось всего час назад, но сейчас уже дальше нельзя было представить себе жизнь без этого далекого величественного гула артиллерийского наступления. Он уже существовал в сознании, независимо от того, был ли слышен в эту секунду или нет.

«Неужели началось? - еще раз почти испуганно спросил себя Сабуров и сам себе решительно ответил: - Да, да, конечно, да».

И хотя он сидел, как в мышеловке, в блиндаже почти над самой Волгой и немцам оставалось здесь дойти до Волги восемьсот, а до его блиндажа шестьдесят метров, но все равно он второй раз в жизни испытал, так же как когда-то в декабре под Москвой, ни с чем не сравнимое счастье наступления.

- Ну как? Слышали? - торжествующе спросил он вошедших Ванина и Масленникова.

Они сидели неподвижно, изредка перекидываясь отрывочными фразами, оглушенные невероятной радостью.

- А не может сорваться, как в сентябре? - спросил Ванин.

- Довольно, хватит! - сказал Сабуров. - Теперь, когда мы ради этого столько тут высидели, не может, не смеет сорваться.

- Ох, как бы я хотел сейчас быть там! - сказал Масленников. - Как бы я хотел быть там! - повторил он взволнованно.

- Где там? - спросил Сабуров.

- Ну там, где наступают.

- Можно подумать, что ты, Миша, сидишь сейчас где-нибудь в Ташкенте.

- Нет, я хочу быть именно там, где наступают.

- А мы здесь будем тоже наступать, - сказал Сабуров.

- Ну это еще когда...

- Сегодня.

- Сегодня? - переспросил Масленников.

Он ждал, что Сабуров будет продолжать, но Сабуров молчал. У него появился план, о котором не хотелось говорить раньше времени.

- Может, выпьем за наступление, а? - подождав, сказал Масленников.

- Петя! - крикнул Сабуров, но Петя не отзывался. - Петя! - крикнул он опять.

Петя стоял наверху, так же как за пять минут до этого стояли они, и слушал. Он слышал, как зовет его Сабуров, но впервые позволил себе пропустить это мимо ушей - так ему хотелось как следует расслышать звуки канонады. Сабурову пришлось самому выскочить в ход сообщения.

- Петя! - крикнул он еще раз.

Петя, словно только услышав, побежал к Сабурову.

- Что, слушал? - спросил его Сабуров.

- Слушал, - улыбнулся Петя.

- Пойди, выдай нам по этому случаю паек! - сказал Сабуров.

Петя, с полминуты побрякав кружками и флягами, внес в блиндаж тарелку с тремя кружками и с открытой банкой консервов, из которой веером торчали вилки.

- Налей и себе, - сказал Сабуров, изменяя своему обыкновению.

Петя приподнял плащ-палатку, вышел и тут же вернулся со своей кружкой, судя по быстроте возвращения, налитой заранее.

Чокнувшись, они молча выпили, потому что все было ясно и больше говорить было не о чем: пили за наступление.

Через полчаса позвонил Проценко и уже более спокойным голосом, но все еще взволнованно

сообщил, что из штаба фронта получено официальное подтверждение, что наши войска в пять часов утра после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление северней Сталинграда.

- Отрезать их будут, отрезать! – радостно закричал Масленников, когда Сабуров, положив трубку, рассказал им содержание разговора с Проценко.

- Идите, – сказал Сабуров, – ты, Ванин, в первую роту, а ты в третью. Расскажите людям.

- А ты здесь останешься? – спросил Ванин.

- Да. Я хочу с Ремизовым поговорить.

Сабуров очинил карандаш и, достав из папки штабных документов листок со схемой расположения участка батальона и впереди лежащих домов, задумался.. Потом он сделал на схеме одну за другой несколько быстрых пометок. Да, они тоже сегодня должны наступать. Это было для него ясно. Он, конечно, представлял себе, что главные события разыграются теперь далеко от них, на севере и, может быть, на юге, а их удел – пока что сидеть здесь. Но тем не менее сегодня, когда началось то великое, чего они все с таким трепетом ждали, у него появилась торопливая жажда деятельности. То, что накопилось в душе и у него и у других, должно было найти свой выход. Он позвонил Ремизову:

- Товарищ полковник?

- Да.

- Разрешите прибыть к вам. У меня есть план одной небольшой операции.

- Операции? – сказал Ремизов, и даже по телефону было заметно, как он улыбнулся. – Лавры наступающих армий не дают покоя?

- Не дают.

- Ну что ж. Это хорошо, – сказал Ремизов. – Только не ходите ко мне, я сам приду.

Ремизов пришел через полчаса, разделся и, сев рядом с Сабуровым, стал пить принесенный ему Петей горячий чай.

- В некоторой степени подобное чувство я испытал после долгого стояния в Галиции в дни летнего наступления тысяча девятьсот шестнадцатого года. Прекрасное было чувство, особенно в первые дни. Но сейчас больше.

- Что больше? – спросил Сабуров.

- Все больше: и чувство и наступление, очевидно.

- А вы думаете, это очень большое наступление?

- Убежден. Ну что у вас за план? – Ремизов отставил в сторону кружку,

- План простой – захватить вот этот, следующий за конюковским, бывший мой дом.

- Когда?

- Сегодня ночью.

- Каким образом?

Сабуров коротко развил перед Ремизовым план, о котором ему ночью, не предполагая, что осуществление так близко, говорил Конюков.

- Главное, атаковать не оттуда, откуда могут ждать, а прямо от Конюкова, из осажденного дома, где немцы ничего не ждут, кроме пассивной обороны.

Ремизов пощипывал седые усы.

- А люди? Это хорошо. Но люди?

- Меня тоже это раньше смущало, - сказал Сабуров. - Но сегодня, после этой канонады, я думаю, сделаем и так. - Сабуров улыбнулся. - Да и вы на радостях немножко дадите, а?

- Дам, - в свою очередь, улыбнулся Ремизов.

- И генерал, когда мы ему доложим, даст?

- Несомненно, даст, - сказал Ремизов. - Я-то не знаю еще, дам или нет, а генерал даст.

- Но и вы дадите?

- Дам. И первого - себя. О господи, до чего надоело сидеть в обороне! Вы знаете что? - прищурившись, посмотрел он на Сабурова. - Мы непременно возьмем дом. Под такой аккомпанемент с севера просто стыдно этого не сделать. Дом... Что такое дом? - Он усмехнулся, но тут же стал серьезным. - А между прочим, дом - это много, почти все, Россия. - Он откинулся вместе с табуреткой к стене и повторил протяжно: - Россия... Вы даже не представляете себе этого чувства, которое у нас будет, если мы на рассвете возьмем этот дом. Ну что дом? Четыре стены, и даже не стены, а четыре развалины. Но сердце скажет: вот, как этот дом, возьмем обратно всю Россию. Понимаете, Сабуров? Главное, начать. Начать с дома, но почувствовать при этом, что так будет и дальше. И так будет дальше до тех пор, пока все не будет кончено. Все. Так как же вы предполагаете подтащить людей туда, к Конюкову? - спросил он уже деловым тоном.

Сабуров объяснил, как он предполагает подтащить за ночь людей к Конюкову, и как это сделать тихо, и как перенести на руках минометы, и, может быть, даже перекатить, тоже на руках, несколько пушек.

Через полчаса они закончили предварительные расчеты и позвонили Проценко.

- Товарищ генерал, я нахожусь сейчас у Сабурова, - сказал Ремизов. - Мы с ним разработали план наступательной операции в его батальоне.

Услышав слова «наступательная операция», Проценко быстро сказал:

- Да, да, сейчас же явится оба ко мне - и вы и Сабуров. Сейчас же.

Выбравшись в ход сообщения, они направились к Проценко. Уже начинало светать, но белая пелена метели по-прежнему со всех сторон закрывала горизонт. Далекий гул канонады не ослабевал, с рассветом казалось, что он слышен еще лучше.

Проценко был в приподнятом настроении. Он ходил по блиндажу, заложив руки за спину. На нем был тот же парадный китель, в котором он недавно принимал командиров, но сегодня в блиндаже было холодно, и генерал, не выдержав стужи, поверх кителя накинул на плечи старый ватник.

- Холодно. Холодно, - этими словами встретил он Сабурова и Ремизова. - Востриков, сукин сын, не позаботился, чтобы дрова были. Печка едва дышит, - и он притронулся рукой к чуть теплой чугунной печке. - Востриков!

- Да, товарищ генерал?

- Когда дрова будут?

- Через час.

- Ну, смотри. Очень холодно, - повторил Проценко. - Ну, какая же наступательная операция у вас намечена? - В его голосе чувствовалось нетерпение. - Докладывайте, полковник.

- С вашего разрешения, - сказал Ремизов, - пусть капитан Сабуров доложит. Это его план.

Сабуров второй раз за утро изложил план захвата дома.

- И за эту ночь вы успеете сосредоточить людей в доме Конюкова и до света атаковать? - спросил Проценко.

- Успею, - ответил Сабуров.

- Сколько у тебя на это может пойти людей?

- Тридцать, - сказал Сабуров.

- А вы сколько ему можете дать?

- Еще двадцать, - сказал Ремизов, подумав.

- Значит, пятьдесят человек успеешь перебросить и подготовить? - спросил у Сабурова Проценко.

- Да. Успею.

- А если я дам вам еще тридцать и будет уже восемьдесят, тоже успеешь?

- Тем более успею, товарищ генерал, - сказал Сабуров.

- Ну что же, добре, добре, - сказал Проценко. - Начнем свое наступление с этого. Только имей в виду, - обратился он к Сабурову, - транжирить людей я не дам. Дом возьмем, не сомневаюсь. Но все-таки в Сталинграде пока еще в осаде мы, а не немцы, как бы хорошо ни было там, на севере. Понимаешь?

- Понимаю, - ответил Сабуров.

- Товарищ генерал, - сказал Ремизов.

- Да?

- Разрешите, я лично приму участие в операции.

- Лично? - хитро прищурился Проценко. - Это что же значит: на командном пункте у Сабурова будете? Ну что же, так и должно быть - вы же командир полка. Или, может быть, к Конюкову в дом ползете? Вы это имеете в виду? Ползете?

Ремизов молчал.

- Ползете?

- Полезу, товарищ генерал.

- Тоже допустимо. Но вот уже в тот, в другой дом вам не разрешаю лазить. Пусть один Сабуров туда идет. Понятно?

- Есть, товарищ генерал, - сказал Ремизов.

- Он туда, вы - в дом Конюкова, а я, может быть, сам на командный пункт приду. Вот так и решим. Сейчас прикажу подобрать вам тридцать человек. Только берегите. Последние, имейте в виду.

- Разрешите идти? - спросил Сабуров.

- Да. Сообщайте мне по телефону, как подготовка идет. Подробно сообщайте. Мне же интересно, - вдруг совсем просто добавил он. - Да, вот еще. От имени командира дивизии скажите бойцам и командирам: кто первым в дом ворвется - орден, кто следующим - медаль, кто «языка» возьмет - тоже медаль. Так и передайте. Конюков, говоришь, первоначальное предложение сделал? - спросил Проценко у Сабурова.

- Конюков.

- Конюкову - медаль. Я ему недавно орден дал, да?

- Да, - сказал Сабуров.

- Вот и хорошо. Теперь - медаль. Пусть носит. Так и скажи ему: медаль за мной. Все. Можете идти.

XXVI

Весь день прошел в подготовке к ночному наступлению. Все делалось быстро, без задержек и с удивительной готовностью. Казалось, лихорадочная жажда деятельности охватила всех в дивизии. Уже через два часа Сабурову позвонил начальник штаба дивизии и сказал, что тридцать человек собраны. Артиллеристы с разных участков дали три пушки для того, чтобы после взятия дома сразу же, ночью, вкатить их туда. Петя в углу блиндажа возился с автоматами - своим, Сабурова и Масленникова, так тщательно прочищая и смазывая их, как будто от этого зависела судьба операции. Он даже вытащил из угла порванную холщовую сумку Сабурова для гранат и тщательно заштопал ее. Той строжайшей тайны, которой требуют военные уставы во время подготовки к операции, на этот раз в батальоне соблюдено не было. Напротив, каждый знал, что ночью готовится захват дома, и радовался этому, хотя кому-то из

них, наверно, предстояло именно в эту ночь сложить свою голову.

И далекая непрекращавшаяся канонада, говорившая, что наступление продолжается, и эта неожиданная идея захвата дома после долгого стояния в обороне – все, вместе взятое, заставляло не думать о смерти или, точнее, думать о ней меньше, чем обычно.

Под вечер в батальон явился Ремизов. Он сказал, что его люди и люди Проценко уже готовы и ждут. Они вчетвером – Ванин, Масленников, Сабуров и Ремизов – наскоро закусили, не особенно сытно, потому что Петя, занятый чисткой автоматов, на этот раз сплеховал, и договорились о распределении обязанностей. Ванин должен был остаться в батальоне. Кстати сказать, он только что вернулся из роты. Весь день на позициях продолжалась обычная стрельба, и немцы даже переходили два раза в небольшие атаки. Словом, все шло так, как будто на севере не было этой все перевернувшей в сознании людей канонады. Теперь Ванину предстояло дежурить ночь в штабе батальона, кого-то одного все-таки следовало оставить здесь. Он согласился, хотя Сабуров видел по его лицу, что он недоволен и с трудом сдерживается. Зато Масленников был в отличном настроении. Ему предстояло идти вместе с Сабуровым и Ремизовым в дом к Конюкову.

Сразу же, как стемнело, Сабуров вместе с первой партией бойцов и Масленниковым благополучно перебрался в дом Конюкова.

- Товарищ капитан, разрешите спросить? – этими словами Конюков встретил Сабурова.

- Ну?

- Канонадой этой, стало быть, наши немцев в круг берут?

- Стало быть, да.

- Вот я так и объяснил, – сказал Конюков. – А то они меня все спрашивают: «Товарищ лейтенант (они меня все лейтенантом зовут, поскольку я начальник гарнизона), товарищ лейтенант, это наши наступают?» Я говорю: «Определенно наступают».

- Определенно наступают, Конюков, – подтвердил Сабуров. – И мы с тобой будем сегодня наступать.

Потом он передал Конюкову, что Проценко наградил его медалью, на что Конюков, вытянувшись, сказал:

- Рад стараться!

Конюковцы вместе с прибывшими бойцами тихо, перенося в руках по одному кирпичу, расчищали проходы, через которые должны были выползти из дома штурмовые группы. По ходу сообщения понемногу подносили тол, гранаты, потом притащили несколько противотанковых ружей и два батальонных миномета.

Когда Сабуров, оставив Масленникова распоряжаться дальше, вернулся к себе на командный пункт, он нашел там молоденького лейтенанта, командира батареи, дожившего, что три его орудия уже находятся здесь. Лейтенант просил распоряжений о том, как их подкатывать дальше.

- Кое-где и на руках придется перенести, – сказал Сабуров.

- На руках перенесем, - ответил лейтенант с той особенной готовностью, которая была сегодня у всех. - Мы хоть всю дорогу можем на руках.

- Нет, всю дорогу не надо, - заметил Сабуров. - Но если зашумите и если даже немцы вам за это голову не снимут, так я сниму.

- Не зашумим, товарищ капитан!

Сабуров дал ему в провожатые Петю, уже три раза ходившего к Конюкову.

Была полночь, когда Сабуров, собрав в доме своих и ремизовских людей, встретил последнюю партию - тридцать человек, пришедших от Проценко, и, разделив их на мелкие группы, стал переправлять в дом Конюкова. Наконец он снова пошел туда сам вместе с Ремизовым.

В подвале, под цементными плитами, бойцы устроили курилку и по очереди, тесно усаживаясь на корточки, как куры на насест, курили. Когда не хватало табаку, они втроем или вчетвером затягивались по очереди одной и той же сигаркой. Сабуров вытащил кисет и раздал весь оставшийся у него превратившийся в крошку табак. Самому ему курить не хотелось. Он все время мучительно старался вспомнить, не забыто ли что-нибудь и все ли сделано.

Связисты протянули от дома Конюкова до командного пункта Сабурова провод; днем немцы увидели бы и порвали его, но ночью он мог сослужить свою службу. По этому проводу Сабуров связался с Проценко.

- Откуда говоришь? - спросил Проценко.

- Из дома Конюкова.

- Молодцы, - сказал Проценко. - А я как раз хотел сказать, чтоб протянули. Ну как?

- Последние приготовления, товарищ генерал,

- Хорошо. Через полчаса можете начать?

- Можем, - ответил Сабуров.

- Значит, в ноль тридцать. Хорошо.

Но начали все-таки не в 0.30, а на сорок пять минут позже. Противотанковые пушки никак нельзя было протаскать через пролом, и пришлось по кирпичику разбирать стену.

Наконец, когда все пятьдесят человек, которым предстояло атаковать первыми, были разделены на четыре штурмовые группы, когда саперы с пакетами тола и с гранатами и шедшие с ними автоматчики были окончательно готовы, а дула пушек высунулись из проломов, - в четверть второго был дан шепотом приказ о начале атаки.

Минометы рывкнули так оглушительно, что эхо, как мяч, отскакивая от стены к стене, пошло греметь вдоль развалин. Пушки начали бить прямой наводкой, и две штурмовые группы с Сабуровым и Масленниковым двинулись вперед. Немцы ждали атаки откуда угодно, но только не из этого, как им казалось, полностью заблокированного дома. Они стреляли ожесточенно, но беспорядочно: видимо, растерялись.

Как и все ночные бои, эта схватка была полна неожиданностей: выстрелов в упор, разрывов гранат, брошенных прямо под ноги, - всего, что делает в ночном бою главным не количество

людей, а решимость и крепость нервов тех, кто дерется.

Сабуров кого-то застрелил в упор из автомата и несколько раз в темноте спотыкался о камни и падал. Наконец, пробежав через хорошо знакомые ему полуразрушенные подвальные помещения дома, он выбрался на его западную сторону и, задыхаясь от усталости, приказал одному из оказавшихся рядом бойцов передать, чтобы сюда скорее подтаскивали пушки.

Для немцев все происшедшее было так неожиданно, что многие из них были убиты, а другие принуждены были бежать из дома раньше, чем сообразили, в чем дело. Но донесение о том, что русскими отбит дом, очевидно, так возмутило немецких начальников, что они собрали всех, кто был под рукой, и, против обыкновения, послали их в контратаку, не дожидаясь рассвета. Первая контратака была отбита. Когда через полчаса, засыпав дом минами, немцы пошли в атаку вторично, Сабуров в душе еще раз поблагодарил Проценко за то, что тот добавил ему людей. В доме не осталось ни одной целой стены – всюду были развалины и проломы, через которые могли пролезть немцы, и нужно было защищаться в непроглядной темноте.

В разгар второй контратаки немцев к Сабурову подполз Масленников и спросил, нет ли у него гранат.

- Есть, - ответил Сабуров, отстегивая от пояса и передавая ему гранату. - Все истратил?

- Покидал, - признался Масленников виноватым тоном.

- Скажи, чтобы минометы сюда перетасили, хотя бы два. Сейчас не понадобятся, а под утро чтобы уже здесь стояли. Мы тут с тобой, Миша, командный пункт устроим и никуда отсюда не уйдем. Понял?

- Понял.

- Пойди скажи минометчикам.

- Сейчас, - сказал Масленников.

Он весь жил еще горячкой боя, и ему не хотелось отсюда уходить.

- Алексей Иванович, - тихо сказал он.

- Ну? - оторвался Сабуров от автомата.

- Алексей Иванович, удачно там наступление идет? Как думаете?

- Удачно, - подтвердил Сабуров и снова приложился к автомату: ему показалось, что впереди кто-то движется.

- Окружат их? - спросил Масленников, но не успел получить ответ.

Из пролома слева сразу выскочили несколько немцев, все-таки нашедших в стене дома незащищенную щель. Сабуров дал длинную очередь, автоматный диск кончился. Он пошарил рукой у пояса, где должна была висеть граната, но ее не было – он только что отдал ее Масленникову. А немцы подскочили совсем близко. Масленников из-за плеча Сабурова швырнул гранату, но она почему-то не разорвалась. Тогда Сабуров перехватил автомат за дуло и со всего размаху ударил прикладом по возникшей рядом черной фигуре. Он размахнулся с такой силой, что не удержался и, обрушив автомат на что-то треснувшее, сам упал лицом

вперед. Это спасло его – длинная автоматная очередь прошла над ним.

Масленников выстрелил несколько раз из нагана и увидел, как немец замахнулся автоматом над лежащим Сабуровым. Отбросив пустой наган, Масленников сбоку прыгнул на немца, и они оба покатались по каменному полу. Они катались, стараясь перехватить друг у друга руки. Левая рука Масленникова попала между двумя камнями; он слышал, как она хрустнула, и больше не мог ею двинуть. Другой рукой он продолжал сжимать горло немца и катался, оказываясь то поверх него, то под ним. Последнее, что он ощутил, было что-то твердое, прижатое к его груди. Немцу удалось вытащить из-за пояса парабеллум, прижать свободной рукой к телу Масленникова и несколько раз подряд спустить курок.

Опомнившись от падения, Сабуров вскочил и увидел черный катавшийся под ногами клубок. Потом раздались выстрелы, клубок разорвался, и большая незнакомая фигура стала подниматься на корточки. У Сабурова ничего не оказалось под руками, он рванул с пояса автоматный диск, прямо, как был, в чехле, и опустил на голову немца раз, второй и третий со всей силой, на какую был способен.

Прибежавшие из соседнего подвала автоматчики уже лежали за выступом стены и стреляли. Контратака была отбита.

- Миша! – крикнул Сабуров. – Миша!

Масленников молчал.

Опустившись на землю, оттолкнув мертвого немца, Сабуров, шаря руками, дотянулся до Масленникова, ощупал петлицы, орден Красной Звезды на гимнастерке, потом дотронулся до лица Масленникова и снова позвал: «Миша». Масленников молчал. Сабуров еще раз ощупал его. Слева, у сердца, мокрая гимнастерка прилипла к пальцам. Сабуров попробовал поднять Масленникова. У него мелькнула дикая мысль, что если он сейчас поднимет Масленникова так, чтобы тот стоял, то это очень важно – тогда, наверное, он будет жив. Но тело Масленникова беспомощно обвисло на его руках. Тогда Сабуров поднял его на руки, так же как Масленников четыре дня назад поднял Аню, и понес, переступая через камни.

- Пушки выкатили? – спросил он, услышав голос артиллерийского лейтенанта, подававшего команды.

- Да.

- Где поставили? – опять спросил Сабуров, стоя так, словно он забыл, что на руках его лежит Масленников.

- Одну здесь, а две по флангам.

- Правильно, – сказал Сабуров.

Дойдя до подвала, где оставался еще кусок цементного потолка и можно было зажечь спичку, он опустил на пол тело Масленникова и сел рядом с ним.

- Миша, – позвал он еще раз и, чиркнув спичкой, сразу прикрыл ее рукой.

В слабом свете перед ним мелькнуло бледное лицо Масленникова с закинутыми назад кудрявыми волосами, одна прядка которых, мокрая и беспомощная, прилипла ко лбу. Сабуров поправил ее.

Хотя всего несколько минут отделяло их последний разговор от этого безмолвия, но Сабурову казалось, что прошло бесконечно много времени. Он вздрогнул и горько заплакал, второй раз за эти пять дней.

Через час, когда кончилась последняя немецкая ночная контратака и стало ясно, что немцы решили отложить следующие атаки до утра, Сабуров позвал к себе командира саперного взвода, участвовавшего в штурме дома, и приказал ему вырыть могилу для Масленникова,

- Здесь? - удивленно спросил сапер, знавший, что при всякой возможности тела убитых командиров выносили из боя куда-нибудь назад.

- Да, - сказал Сабуров.

- Может, лучше на нашей территории?

- Здесь, - сказал Сабуров. - Это теперь тоже наша территория. Выполняйте приказание.

Саперы поковыряли землю, пробуя найти рядом с фундаментом менее обледенелый грунт, но промерзшая земля не поддавалась лопатам и ломам.

- Что вы копаетесь? - угрюмо спросил Сабуров. - Я вам покажу, где вырыть могилу.

Он повел саперов в самый центр дома, где наверху, как черные кресты, еще виднелись остатки перекрытий.

- Вот здесь, - сказал он, гулко ударив сапогом в бетонный пол. - Пробейте бурку, заложите тол, взорвите и похороните.

Голос его был непривычно суров. Саперы быстро сделали бурку, заложили тол и подожгли запал. Раздался короткий взрыв, мало чем отличавшийся по звуку от минных разрывов, слышавшихся кругом. В развороченном полу образовалась яма. Из нее выгребли обломки кирпичей и бетона и опустили туда тело Масленникова. Сабуров спрыгнул в яму и стал рядом с телом. Он снял с Масленникова шинель, с трудом вынул из рукавов уже окоченевшие руки, и накрыл тело шинелью так, что было видно только лицо. Уже чуть брезжил рассвет, и когда Сабуров наклонился, он хорошо видел лицо Масленникова. Сабуров переложил к себе в карман документы из гимнастерки Масленникова и отвинтил орден.

- У кого винтовки? - спросил он, поднявшись из могилы Масленникова.

- У всех есть.

- Залп в воздух, и засыпайте могилу. Я скомандую. Раз! Два! - Он перезарядил свой автомат и выстрелил вместе со всеми. Короткий залп сухо прозвучал в холодном воздухе.

- Теперь засыпайте, - сказал Сабуров, отвернувшись от могилы, не желая видеть, как комья цемента и камни будут сыпаться и ударяться о тело человека, которого еще час назад он не мог представить себе мертвым. Он не поворачивался, но чувствовал спиной, как падают холодные обломки камней в могилу, как они громоздятся все выше, как звук становится все тише, потому что их все больше и больше. И вот уже скребет саперная лопатка, сравнивая их с уровнем пола.

Сабуров присел на корточки, вынул из кармана блокнот и, выдрав листок, нацарапал на нем несколько строк. «Масленников убит, - писал он. - Я остаюсь здесь. Если вы согласны, считаю

целесообразным, чтобы Ванин со штабом тоже перешел вперед, ближе ко мне, в дом Конюкова. Сабуров».

Подозвав связного, он приказал отнести записку Ремизову.

- Ну а теперь будем воевать, - сказал Сабуров прежним угрюмым голосом, в котором дрожала готовая сорваться слеза. - Будем воевать тут, - повторил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. - Командир роты здесь? - позвал он.

- Здесь.

- Пойдем. Там, в правом флигеле, нужно подрывать под фундамент пулеметные гнезда. У тебя пулеметы на первом этаже стоят?

- Да.

- Разобьют. Надо подрывать под фундамент.

Они прошли несколько шагов, топая по цементному полу. Сабуров вдруг остановился:

- Подожди.

Была минута тишины, когда не стреляли ни мы, ни немцы. Сквозь развалины дул ледяной западный ветер, и, доносимые ветром, отчетливо слышались обрывки канонады на западе.

- Подожди.

Была минута тишины, когда не стреляли ни мы, ни немцы. Сквозь развалины дул ледяной западный ветер, и, доносимые ветром, отчетливо слышались обрывки канонады на западе.

На Средней Ахтубе, в пятидесяти километрах от Сталинграда, - там, куда не доносилась далекая канонада и куда только еще начинали доходить первые слухи о наступлении, - рано утром в избе, служившей операционной, на носилках лежала Аня. Ей уже сделали одну операцию, но так и не вынули глубоко сидевшего осколка. Она в эти дни то приходила в сознание, то снова теряла его и сейчас лежала неподвижно, бледная, без кровинки в лице. Все было готово, и ждали главного хирурга, согласившегося сделать повторную операцию, на которую теперь возлагались все надежды. Врачи переговаривались между собой.

- Как вы думаете, Александр Петрович, выживет? - спросила молодая женщина-врач у пожилого хирурга в надвинутом по самые брови белом колпаке.

- Вообще нет, а у него, может быть, и выживет, - сказал хирург. - Если сердце выдержит, может выжить.

Распахнулась дверь, и из соседней половины избы, потянув за собой полосу холодного ветра, вошел быстрыми шагами маленький приземистый человек, вытянув вперед руки с грубыми толстыми красными пальцами, которые, очевидно, были у него уже протерты спиртом. Под его густыми буро-седыми усами топорщилась зажатая в углу рта папироса.

- На стол, - сказал он, посмотрев в ту сторону, где на носилках лежала Аня. - Зажгите мне папиросу.

Ему поднесли спичку, и он, приблизив к ней папиросу, закурил, все так же держа руки впереди себя.

- Говорят, - сказал он, подходя к операционному столу, - что наши войска перешли в общее наступление, взяли Калач и окружают немцев за Сталинградом. Все. Все! - Он сделал руками решительный жест. - Подробности потом, после операции. Возьмите у меня папиросу. Дайте свет.

Шли вторые сутки генерального наступления. В излучине Дона, между Волгой и Доном, в крошечной тьме ноябрьской ночи, лязгая железом, ползли механизированные корпуса, утопая в снегу, медленно двигались машины, взрывались и ломались мосты. Горели деревни, и вспышки орудийных выстрелов смешивались на горизонте с заревами пожарищ. На дорогах, среди полей, черными пятнами лежали успевшие окостенеть за ночь мертвые тела.

Проваливаясь в снег, нахлобучив ушанки, прикрываясь руками от ветра, шла по снежным полям пехота. На руках, через сугробы, перетаскивали орудия, рубили сараи и настилали из досок и бревен колеблющиеся мостки через овраги.

Два фронта в эту зимнюю ночь, как две руки, сходящиеся по карте, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях, к западу от Сталинграда.

В этом охваченном ими пространстве, в их жестоких объятиях еще были немецкие корпуса и дивизии со штабами, генералами, дисциплиной, орудиями, танками, с посадочными площадками и самолетами, были сотни тысяч людей, еще, казалось, справедливо считавших себя силой и в то же время бывших уже не чем иным, как завтрашними мертвецами.

А в газетах в эту ночь еще набирали на линотипах, как всегда, сдержанные сводки Информбюро, и люди, перед тем как ложиться спать, слушая последние известия по радио, по-прежнему тревожились за Сталинград, еще ничего не зная о том взятом в бою военном счастье, которое начиналось в эти часы для России.

1943 - 1944